Теневая Омега
для истинных альф
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+
Луна Войская

Луна Войская

Теневая Омега для истинных Альф

«Автор»
2026

Войская Л.

Теневая Омега для истинных Альф / Л. Войская — «Автор», 2026

Её растили, чтобы сломать.По капле яда в утренний чай, с детства. Чтобы метки на шее оставались родинками, а жёлтое кольцо в глазах казалось гетерохромией. Омега без запаха, без жара, без голоса, росла тихо и не знала, что она — граница.Владлен не знал одного. Травя того, кого нельзя отравить, он ковал. И то, что считал цепью, оказалось мостом.А мост ведёт к трём.Рыжий ложится поперёк входа в логово и не может разбить яйцо. Зверь, который охраняет и не умеет по-другому.Серебряный не спит четыреста лет. Лёд, который научился молчать, и тишина — его оружие.Чёрный был один ещё до кланов, до альф, до омег. Тень, которая тоскует так давно, что забыла, как бывает иначе.Три нити. Одна точка. Если выдержит — стоит мир. Если нет — огонь сжигает себя, лёд замерзает, бездна проваливается в себя.Точка — это Алина. Она не сломалась. Она пошла.А Владлен уже идёт. С охотниками и мертвецом, который не теряет запах. Он слышит, что метки замкнулись.Он не привык делить.

© Войская Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Бар «Оникс» 9
Глава 2. Неверие 16
Глава 3. Волчья ягода 21
Глава 4. Побег 26
Глава 5. Дом Северных 31
Глава 6. Пробуждение 37
Г 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Луна Войская
Теневая Омега для истинных Альф

Пролог

Я пишу это в три часа ночи. Кухня, тусклый свет, остывший чай. Все спят. Экран телефона режет глаза, но мне нужно выговориться, иначе я просто взорвусь.

Меня зовут Алина. Двадцать три года. Омега-оборотень из клана Теневых. Моя жизнь только что разделилась на «до» и «после».

До: я думала, что была обычной. Послушная дочь. Правильная девочка, которая пекла хлеб по утрам и не задавала лишних вопросов. После: я узнала, что всю жизнь меня держали на цепи из трав и лжи, что моя сила заперта где-то глубоко внутри, и что три альфы, от которых у меня подкашиваются ноги, не просто случайно оказались рядом. Они были посланы за мной. Или я к ним. Я пока не понимаю, кто здесь добыча, а кто охотник.

Но по порядку. Потому что если начать с середины, вы ничего не поймёте. А если с начала, я сама не пойму. Потому что настоящее началось не тогда, когда я впервые увидела их. Оно началось гораздо раньше. В ночь, когда мать впервые подмешала мне в чай сушёный корень волчьей ягоды.

Мне было семь. Октябрь. За окном лил дождь, мелкий, холодный, чувашский, тот, что может идти сутки напролёт и от которого в доме пахнет сыростью и мокрой землёй. Мать сидела на краю моей кровати в ночном халате, с распущенными волосами. Лидия Павловна. Лицо усталое, под глазами тени, губы сухие, обветренные. Она улыбалась, но улыбка не достигала глаз. Глаза были пустые, как два колодца, в которые бросили камень и не услышали всплеска.

Она поставила чашку на тумбочку. Белая, с отколотым краем, с цветочком на боку. Чай был тёмный, почти чёрный, пах горько, не как обычный чай, а как аптека, как сушёная трава, как что-то, чему не место в детской кружке.

— Пей, доченька, — сказала она. — Это чтобы ты сильная была. Чтобы хворь не цеплялась.

Я пила. Мне было семь, и я верила матери. Верила, что чай горький, потому что полезный. Что мама знает лучше. Что если она говорит «пей», значит, надо пить. Я держала чашку двумя руками, потому что она была горячая, и чай обжигал губы, и горечь собиралась на корне языка, и я морщилась, а мать гладила меня по голове и говорила:

— Вот так. Хорошая девочка. Маленькими глотками.

Каждый вечер. Шестнадцать лет. Каждая чашка, ещё одна цепь. Ещё один замок. Ещё одна ложь, завёрнутая в материнскую улыбку.

Я не знала этого тогда. Думала, чай просто горький. Что мама заботится. Что так и надо. Мне было семь, и я верила всему, что мне говорили. Верила, что отец погиб на охоте. Что моя аура слабая и нужно беречься. Что выходить за периметр поместья нельзя, потому что там чужие. Что обмороки — это норма для слабой омеги. Что хлеб, который печёт Егор, нужно есть каждое утро, потому что он придаёт сил.

Всё это было враки. Каждое слово. Каждая чашка. Каждая буханка.

Но я узнаю об этом позже. А пока просто знайте: я обычная омега, работаю барменом в баре «Оникс», и сегодня вечером в этот бар войдут трое, и моя жизнь перевернётся. Просто перевернётся. И я даже не успею испугаться.

Позвольте, я расскажу немного о мире, в котором живу. Вернее, о мире, в котором я думала, что живу. Потому что настоящий мир оказался совсем другим.

Клан Теневых. Так нас называли. Оборотни, поселившиеся на окраине, в старом поместье за забором из красного кирпича и вековых дубов. Нас было около двухсот. Двести волков под видом обычных людей. Днём мы работали, учились, ходили в магазины, платили налоги. Ночью, когда луна поднималась над лесом, становились другими. Кто-то бегал в звериной форме, кто-то просто дышал лесным воздухом, слушал, как скрипят деревья, и чувствовал зверя внутри, как второе сердце.

Во главе клана стоял альфа-старейшина. Владлен Сергеевич Воронин. Человек, которого я боялась с детства, не понимая почему. Высокий, сухой, с седыми волосами, зачёсанными назад, и руками хирурга, длинные, тонкие пальцы, которые никогда не дрожали. Он говорил тихо, почти шёпотом, и все слушали. Не потому что хотели. Потому что не слушать было нельзя. Его аура давила, как бетонная плита, и даже альфы, здоровые, сильные мужики с бицепсами и татуировками, опускали глаза, когда он входил в комнату.

Сорок лет он управлял кланом. Сорок лет каждое решение, каждый брак, каждый перевод, каждый выход за периметр проходил через его руки. Он знал про каждого волка всё: кто с кем спит, кто что ест, у кого течка, у кого смена. Держал клан, как шахматную доску, и все двести фигур двигались по его правилам.

Включая мою мать.

Лидия Павловна Воронина, урождённая Соколова. Бета. Когда-то сильная, быстрая, с аурой, которая светилась ровным тёплым светом. Я видела фотографии: молодая, с прямыми тёмными волосами, с улыбкой, которая была настоящей, не как сейчас. Она бегала с отцом по лесу, они смеялись, они были счастливы. А потом отец погиб. Или не погиб. Я не знаю, что было правдой, а что нет, потому что всё, что мне рассказывали, оказалось ложью.

После смерти отца мать изменилась. Стала тихой, согнутой, будто кто-то вынул из неё позвоночник. Ходила по дому, не поднимая глаз, готовила, убирала, пекла, но делала всё механически, как робот. Глаза пустые. Голос монотонный. Иногда ночью я слышала, как она плачет в ванной, прикрывая рот ладонью, чтобы никто не услышал. Я лежала в своей комнате и тоже плакала, потому что не знала, как помочь.

А потом начались обмороки.

Первый раз я упала в школе. Мне было девять. Урок математики, Маргарита Петровна пишет на доске уравнение, и вдруг пол уходит из-под ног, стены наклоняются, и я вижу лес. Не школьный класс, лес. Тёмный, глубокий, с деревьями до неба, лунный свет пробивается сквозь кроны, и кто-то зовёт меня по имени, не один голос, а три, переплетённые, как корни одного дерева: рычащий, как пламя; тихий, как снег; и третий, беззвучный, как глубина, в которую не падает свет. Я иду на голоса, и они становятся ближе, ближе, и темнота.

Очнулась на полу. Вокруг одноклассники, Маргарита Петровна трясла меня за плечо и кричала: «Алина, Алина, ты меня слышишь?» Я слышала. Но не могла ответить. Гортань была сжата, будто кто-то держал меня за горло и не давал говорить.

Потом были ещё. Раз в месяц, потом раз в неделю, потом чаще. Врачи клана осматривали, щупали пульс, смотрели в глаза, качали головой. «Слабая аура, — говорили они. — Слабая омега. Нужно беречься. Пить чай с травами. Есть хлеб Егора. Не выходить за периметр. Быть осторожной, тихой, незаметной».

Семь лет обмороков. Семь лет, в которые я думала, что больна. Что слаба. Что мне нужно прятаться, потому что мир слишком большой для такой маленькой, хрупкой омеги. А на самом деле в каждом обмороке, в каждой вспышке темноты моя сила рвалась наружу. Мой зверь просыпался, тянулся, царапал клетку изнутри, и клетка, сплетённая из волчьей ягоды и материнского чая, держала. Каждый обморок был криком, который я не слышала. Тремя криками, слитыми в один.

Владлен Сергеич знал. Он всё знал. Стоял за всем: за чаем, за хлебом, за обмороками, за ложью. Документы из его подвала, жёлтые папки с печатями и подписями, говорят прямо:

«Объект А. Воронина, омега, возраст семь лет. Цель: подавление развития ауры, предотвращение пробуждения истинной формы. Средство: волчья ягода, корень, сушёный, ежедневно, в смеси с чаем. Дозировка: две чайные ложки на стакан. Маскировка: чай с малиной. Ответственный: Л.П. Воронина».

Моя мать была ответственной. Она травила меня по его приказу. Шестнадцать лет. Каждая чашка чая, каждая буханка хлеба, каждая ложка варенья с горьким привкусом, всё было ядом. Медленным, незаметным, убивающим не тело, а зверя.

Егор пёк хлеб. Сорокалетний волк-бета, молчаливый, с руками, покрытыми мукой и шрамами от ожогов. Жил в пекарне при поместье и пёк каждое утро, и в тесто, кроме муки и дрожжей, шла волчья ягода. Егор знал. Молчал сорок лет. Молчал, потому что Владлен Сергеич приказал, а приказ альфа-старейшины, закон. Молчал, пёк и смотрел на меня каждое утро, когда я приходила за хлебом, и в его глазах было что-то, чего я не понимала тогда. Не жалость. Не сочувствие. Что-то тяжелее. Стыд. Егор стыдился. Но молчал.

Я узнаю обо всём этом позже. Найду документы в подвале. Прочитаю. Пойму. И мир, который я знала, рассыплется, как карточный домик, а под ним окажется другой, настоящий, жестокий, и в этом мире я не слабая омега, а теневая. Истинная пара трёх альф, чьи метки, золотая, серебряная и чёрная, уже давно горят на моей шее, спрятанные под ложью и травой. И моя сила способна разрушить всё, что строил Владлен сорок лет.

Но это позже. А пока: бар «Оникс».

Улица Ленинградская. Облупленный фасад, неоновая вывеска с перегоревшей буквой «О», так что получилось «никс». Внутри: дым, алкоголь, музыка, которая бьёт в уши. Я работаю здесь барменом уже два года. Пришла после того, как бросила университет: не потянула, обмороки стали чаще, деканат предложил взять академ, и я согласилась, потому что знала: не вернусь.

Бар — это моя жизнь. Здесь я не слабая омега. Здесь я Алина, девушка за стойкой, которая наливает водку, слушает пьяные истории, отбивает руки, которые лезут под юбку, и улыбается, потому что за стойкой улыбка — это броня.

Клиенты разные. Студенты, рабочие, мужики с завода, иногда волки из клана, но они сидят тихо, потому что Владлен Сергеич запретил светиться. Я наливаю, смеюсь, болтаю, и всё нормально, всё как всегда, и я не знаю, что сегодняшний вечер будет последним нормальным вечером в моей жизни.

Потому что сегодня в бар войдут трое.

Трое, от которых воздух станет тяжёлым, как свинец. Трое, от которых кожа покроется мурашками, а низ живота заноет, как перед обмороком, но это будет не обморок. Это будет нечто гораздо более страшное и более прекрасное.

Первый — рыжий, грубый, с зелёными глазами, в которых горит золото. Татуировка волка на предплечье, шрам на ключице, улыбка хищника, который привык брать своё. Триста лет одиночества. Лес, луна, пепел. Он будет первым, кто коснётся меня. Первым, кто ворвётся в мою жизнь, без стука, без разрешения, с рычанием и матом. Он скажет: «Блядь, ты пахнешь на весь дом», и я не смогу его прогнать, потому что мой зверь, запертый на шестнадцать лет, узнает его и заплачет от счастья. Золотая метка на его шее пульсирует жаром, и я почувствую этот жар кожей, даже не касаясь его. Огонь. Максим. Моё первое пламя.

Второй — тише, холоднее, с руками пианиста и глазами цвета зимнего неба. Белые волосы, собранные назад, лицо, вырезанное из мрамора, красота, которая не греет, а обжигает. Четыреста лет одиночества. Лёд, тишина, замок, в котором снег падал вечность. Он придёт вторым и будет так же необходим, как воздух, как вода, как дыхание. Серебряная метка на шее светится холодным мерцанием, и от него пахнет морозом и старой бумагой. Лёд. Артём. Моя первая тишина.

Третий — молчаливый, тёмный, с глазами, в которых нет белка, только бездна. Тёмные волосы, тёмная кожа, шрам от костяного ножа на шее, след древнего ритуала, которого не помнит ни один клан. Чёрная метка не светится, она втягивает свет в себя. Возраст, которого не помнит никто, даже он сам. Тьма, поглощающая свет. Он придёт последним, не потому что меньше нужен, а потому что бездна всегда подходит беззвучно. И когда он окажется рядом, я пойму: он не третий. Он фундамент. Тот, на котором держатся огонь и лёд. Бездна. Дамир. Моя первая глубина.

Три альфы. Одна омега. Связь, которая замкнётся через боль и кровь и пройдёт через нас четверых, как ток через провод. Мы станем одним целым, одним сердцем на четверых, одним зверем с тремя головами и четвёртой, той, что держит их всех. Три нити, золотая, серебряная, чёрная, потянутся от меток на моей шее к каждому из них и замкнут круг, который невозможно разорвать.

Но я забегаю вперёд. Я всегда забегаю вперёд. Мать говорила, что это мой недостаток, хочу знать конец раньше, чем дочитала начало. Но как не торопиться, когда каждая страница жжёт пальцы?

Я сижу на кухне в три часа ночи. Чай остыл. Телефон светит в темноте. За стеной спят трое, от которых пахнет дымом, инеем и чем-то, чему нет названия, древним, тёмным, тёплым. И между ними, в их сне, я. Мост. Соединение. Точка, где три реки сливаются в одну.

Эта история не о любви. Вернее, не только о любви. Она о том, как ломают маленьких девочек. Как травят их чаем и хлебом. Как запирают их силу за семью замками и говорят: «Это для твоего же блага». Она о том, как матери предают дочерей, потому что боятся. Как пекари молчат сорок лет, потому что не могут иначе. Как старейшины строят империи на костях своих детей.

Но она также о том, как собирают себя заново. Как находят тех, кто пахнет домом. Как учатся доверять зверю внутри. Как три альфы, которые ненавидели друг друга века, становятся братьями через одну омегу, и как эта омега, слабая, тихая, отравленная, становится сильнее их всех.

Если хотите знать, как это было на самом деле, читайте. Если ищете сказку с хэппи-эндом, тоже читайте, но знайте: хэппи-энд достаётся не даром. За него платят кровью, болью и годами одиночества. За него платят тремястами годами леса, четырьмястами годами льда и вечностью бездны. За него платят шестнадцатью годами горького чая.

Я заплатила. Они заплатили. Теперь наша очередь получать.

Тень — это не тьма. Тень — это начало.

Глава 1. Бар «Оникс»

Бар «Оникс» был местом, куда нормальные люди не ходили. Не потому что страшно, скорее потому что чувствовали. Чувствовали кожей, что здесь что-то не так. Что стены дышат иначе, не так, как в обычных забегаловках. Что запах не алкогольный и не табачный, а какой-то другой, глубинный, звериный, от которого у обычного человека ёжились волоски на руках и хотелось уйти, хотя он не понимал почему.

Здесь пахло древесной смолой, мокрой шерстью и чем-то кислым, как переваренный хмель. Запах въелся в стены, в стойку, в стулья, в потёртый линолеум на полу. Денис, владелец, говорил, что это из-за старой вентиляции, но Алина знала: это из-за них. Из-за оборотней, которые приходили сюда пить, говорить, сводить счёты и иногда, драться. Запах зверя не выветривается. Он остаётся, как татуировка на коже здания.

Алина работала здесь уже два года. Денис был бета из соседнего клана, клана Речных, и ему нужна была омега за стойку, которая не задавала вопросов. Которая не пугалась, когда клиент рычал. Которая не звала полицию, когда двое оборотней выясняли отношения кулаками прямо у входа. Которая умела смотреть в глаза альфе и не опускать взгляд первой, но и не провоцировать. Это была тонкая грань, и Алина научилась ходить по ней за два года.

Она не задавала вопросов. Ей хватало того, что платили, и того, что здесь можно было не притворяться слабой. Дома, в поместье клана Теневых, она была хрупкой, послушной, бледненькой омегой, которой каждый день подсовывали хлеб с травой и говорили: ешь, тебе нужны силы. Здесь, за стойкой «Оникса», она была собой. Не сильной, нет, сила всё ещё была заперта где-то глубоко, за стеной из шестнадцати лет волчьей ягоды,, но хотя бы настоящей. Здесь она могла просто быть.

В тот вечер бар был почти пуст. Дождь бил в окна косыми линиями, фонари на улице Ленинградской мигали и гудели, как старые трансформаторы. Алина протирала стойку влажной тряпкой, уже мысленно собираясь домой. Часы показывали половину одиннадцатого. Последние посетители, двое бета из клана Речных, которых она знала по именам, Серёга и Лёха, допивали своё и собирались уходить, перекидываясь короткими фразами о работе, о женщинах, о прошедшей неделе.

Алина смотрела на них и думала о том, что завтра утром нужно испечь хлеб для Егора. Старый пекарь ждал её каждое утро у задней двери поместья, принимал тесто, молчал, кивал и уходил в свою пекарню. Она не знала тогда, что Егор пёк не просто хлеб. Что в каждую буханку, в каждый каравай, в каждую булочку он подмешивал сушёный корень волчьей ягоды, толчёный в ступке, смешанный с тмином, чтобы запах травы не чувствовался. По приказу Владлена. Шестнадцать лет. Каждый день.

Но это она узнает позже. А пока она просто стояла и протирала стойку.

Серёга и Лёха ушли, помахав ей на прощание. Дверь хлопнула, и в баре стало тихо. Только гул холодильника за спиной, только шум дождя снаружи, только её собственное дыхание, ровное, спокойное. Она любила эту минуту тишины между уходом последних клиентов и закрытием. Минуту, когда бар принадлежал только ей.

Она не успела насладиться ею.

Дверь открылась. Не скрипнула, просто открылась, будто кто-то знал, как войти тихо. Будто кто-то был здесь раньше, знал, где петли, где щеколда, где нужно нажать, чтобы дверь поддалась беззвучно. Алина подняла голову и забыла, что держит тряпку в руках.

Первым вошёл рыжий.

Высокий, широкоплечий, с волосами цвета тёмной меди, зачёсанными назад, и лицом, на котором можно было прочитать всю историю жестокости. Скулы как лезвия, челюсть тяжёлая, квадратная, с тенью щетины. Нос с горбинкой, сломан и сросся неровно, след давнего удара.

Шрам над правой бровью, тонкий, белый, как нитка. Глаза зелёные, но не просто зелёные, с золотым огнём внутри, горящим изнутри, как два костра в тёмном лесу. Зрачок вертикальный, расширился, когда он увидел её. Не так, как у людей. Не от темноты. От интереса. От голода. Зрачок стал широким, вертикальным, как у кошки, которая видит мышь, и Алина почувствовала, как внутри что-то сжалось и тут же отпустило.

Он был одет в чёрную кожаную куртку, потёртую на локтях, тёмные джинсы, ботинки на толстой подошве. На левом предплечье, из-под рукава, виднелся край татуировки, волк, чёрный, с острыми углами. На шее, чуть выше воротника, золотая метка, не татуировка, а что-то живое, пульсирующее тёплым светом, как тлеющий уголь. От него пахло лесом, дымом, хвоей и чем-то звериным, сырым, от чего у Алины внутри что-то перевернулось и потянуло, как нить, как поводок.

Он дышал тяжело. Не от усталости, от возбуждения. Его грудь поднималась и опускалась медленно, глубоко, но Алина видела, как ноздри его расширяются с каждым вдохом, как он втягивает воздух через нос, читая запах зала, стойки, её. Он дышал ею. Каждый вдох был как глоток, и Алина поняла с ледяной ясностью: он чуял её запах. Не духи, не шампунь, не запах стойки и алкоголя. Её. Омегу. Истинную.

Его дыхание изменилось, когда он подошёл к стойке. Стало глубже, медленнее, с рычащими нотками на выдохе, которые вибрировали в его груди, как мотор на холостом ходу. Он сел на высокий стул, и Алина услышала, как кожа куртки скрипнула, как его вес заставил стул жалобно скрипнуть. Его руки, большие, мозолистые, с мозолями на костяшках, легли на стойку. Он не смотрел на меню. Он смотрел на неё.

Изучал.

Его глаза прошли по ней сверху вниз, медленно, как руки. Сначала лицо: лоб, брови, глаза, нос, губы, подбородок. Он задержался на губах, на секунду, не больше, но Алина почувствовала этот взгляд как прикосновение. Потом шея, он смотрел на её шею так, как смотрят на место для укуса, на место для метки, и Алина инстинктивно подняла руку и дотронулась до горла. Его зрачок сузился от этого жеста, и губы приоткрылись, и она увидела клык. Длиннее обычного. Острый.

Потом плечи, руки, кисти рук. Он смотрел на её пальцы, на коротко остриженные ногти, на мозоль от штопора на среднем пальце. Потом грудь, задержался, не скрывая, не стесняясь. Потом талия, бёдра, и снова вверх, к лицу. Его глаза горели золотом, как два фонаря в темноте.

Алина почувствовала, как кровь прилила к щекам. Она не краснела. Не краснела два года работы в баре, где ей говорили вещи, от которых у моряка покраснели бы уши. Но сейчас она покраснела, потому что его взгляд был не как слова клиентов. Его взгляд был как язык. Он лизал её глазами, от шеи до запястий, и она чувствовала каждое движение этого взгляда на коже, как горячее дыхание.

За первым вошёл второй. Другой. Совершенно другой, как будто их слепили из разного теста.

Светлые, почти белые волосы, собранные в хвост на затылке, открывали лицо тоньше, острее, но не менее жёсткое. Скулы высокие, как у статуи, нос прямой, ровный, без горбинки. Глаза серые, как сталь, и такие же холодные, без золотого отблеска, без звериного блеска. Но Алина видела: зрачки у него тоже изменились. Не так сильно, как у первого, но изменились, стали уже, вертикальнее, и она поняла, что он тоже её видит. Видит не как человек. Как зверь.

На шее, под воротником рубашки, серебряная метка, холодное мерцание, как лунный свет на снегу. На нём был серый костюм, хорошо скроенный, расстёгнутый ворот рубашки, и от него пахло дождём, мятой и чем-то сладковатым, что напомнило ей мёд. Но за мёдом, мороз. Зимнее утро. Первый снег на ещё тёплой земле. Его запах был другим, не лес и дым, а прохлада, которая обжигает. Он пах чище, мягче, но за этой мягкостью Алина чувствовала то же, что и за грубостью первого: силу. Тяжёлую, давящую, альфу.

Он дышал иначе. Тише, ровнее, контролируемо. Его грудь почти не двигалась, как будто он мог задержать дыхание на минуты, как будто воздух для него был не необходимость, а инструмент. Но когда он увидел Алину, его дыхание сбилось. Всего на секунду, всего на полувдохе, но Алина услышала этот сбой, как треск в тишине. Он тут же выровнял дыхание, вернул себе контроль, но Алина уже знала: он тоже её чувствует. Он тоже читает её запах.

Его глаза изучали её по-другому. Не жадно, не голодно. Внимательно. Как коллекционер изучает редкую монету. Он смотрел на её лицо долго, задерживаясь на глазах, на радужке, на зрачках. Потом шея, но не как место для укуса, а как место, где бьётся пульс, где видно, быстро ли бьётся сердце. Он считал её пульс глазами. Алина видела, как его взгляд на секунду задержался на её горле, на яремной вене, и она знала, что он видит пульсацию, видит, как кровь стучит под кожей.

Потом руки. Он смотрел на её руки, на пальцы, на то, как она сжимает тряпку. Он читал напряжение в её кистях, в её плечах, в её спине. Он видел, как она стоит: прямо, но не расслабленно, готовая к движению, к бегу, к чему угодно. Он видел, что она не просто барменша. Он видел, что она что-то скрывает.

А потом вошёл третий.

Алина не увидела его. Она почувствовала.

Не услышала шаги, не уловила движение, просто вдруг поняла, что в комнате ещё кто-то. Как будто темнота стала гуще. Как будто воздух стал тяжелее на несколько граммов. Она перевела взгляд в сторону двери и увидела его, и сердце провалилось.

Тёмные волосы, тёмная кожа, лицо, вырезанное из тени. Не грубое, как у первого, не тонкое, как у второго,, другое. Спокойное. Лицо, на котором ничего не отражалось, как поверхность чёрной воды. Глаза, чёрные, полностью чёрные, без белка, без радужки, только бездна, которая смотрела на неё и втягивала, как воронка. Алина не видела зрачка, потому что весь глаз был зрачком. Бездна смотрела на неё, и она не могла отвернуться.

На шее, шрам. Не от когтей, а от ножа. Костяного, с зазубринами, след древнего ритуала, которого не помнил ни один клан. И рядом со шрамом, метка. Не золотая, не серебряная. Чёрная. Она не светилась. Она втягивала свет в себя, как чёрная дыра, и вокруг неё воздух чуть дрожал, как над асфальтом в жару.

От него не пахло. Алина напрягла нос, ничего. Не дым, не хвоя, не мята, не мёд. Пустота. Запах, которого нет. Запах отсутствия. И от этого отсутствия у неё по спине прошла волна мурашек, потому что она поняла: он не пахнет не потому, что у него нет запаха. Он пахнет тем, что нельзя уловить носом. Он пахнет глубиной. Той глубиной, в которую не падает свет.

Он не сел. Встал у двери, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Молча. Его чёрные глаза не изучали её, они поглощали. Каждый жест, каждое движение, каждую дрожь. Он видел всё и ничего не выражал. Лицо, маска. Тело, неподвижно. Только глаза жили, чёрные, бездонные, и в них Алина увидела что-то, чего не могла назвать. Не голод. Не любопытство. Что-то древнее, как сам воздух в этом баре. Что-то, что ждало.

Она перевела взгляд на золотую метку первого, на серебряную второго, на чёрную третьего, и что-то внутри неё, что-то глубоко запертое, под слоем травы и лжи, дрогнуло. Три метки. Три цвета. Три нити, которые она ещё не видела, но уже чувствовала, тонкие, невидимые, тянущиеся от её шеи к каждому из них. Золотая, горячая, как провод под током. Серебряная, холодная, как ледяная струна. Чёрная, без температуры, без веса, но тяжёлая, как гравитация.

— Ты одна? — спросил первый. Голос низкий, хриплый, с рычащими нотками на согласных, как будто слова проходили через горло, выложенное камнем.

— Нет, — сказала Алина, хотя имела в виду совсем другое. Нет, бар ещё открыт. Но голос её дрогнул на последнем слоге, и она это знала, и знала, что он это услышал.

Он усмехнулся. Уголок губ поднялся, и Алина увидела клык снова. Его дыхание стало глубже, и она увидела, как его ноздри расширились снова, как он втянул воздух, как будто пытался высосать её запах из комнаты.

— Ты знаешь, кто мы? — спросил второй, садясь рядом. Его голос был мягче, но в нём была сталь, как в воде, которая кажется тёплой, но обжигает. Он дышал ровно, но Алина заметила, что он сел так, чтобы быть к ней ближе. Не нарочно. Инстинктивно. Его тело тянулось к ней, как растение к свету.

— Нет, — сказала Алина снова, и это была правда. Она не знала. Она чувствовала, но не знала. Чувствовала, как внутри, где-то в животе, что-то затянулось тугим узлом и потянуло, потянуло к ним, к троим, как нити, как поводки, как невидимые связи, о которых она читала в старых книгах, но никогда не чувствовала. Омега-инстинкт. Тяга к альфе. Но такого не бывает к трём сразу. Такого просто не бывает.

Третий молчал. У двери. Его чёрные глаза не отрывались от неё, и Алина чувствовала его взгляд не на коже, как взгляды первых двух,, а внутри. Как будто он смотрел не на неё, а сквозь, в то место, где зверь сидел в клетке. Она чувствовала, что он видит клетку. Видит прутья. И не удивляется.

— Я Максим, — сказал первый. — Это Артём. — Он кивнул в сторону второго. Потом, не оборачиваясь, чуть громче: — Дамир.

Дамир не ответил. Не кивнул. Не пошевелился. Только его глаза чуть сузились, чёрные щели, в которых не было ничего, кроме темноты.

— Мы из клана Северных, — закончил Максим.

Северные. Алина слышала это название. Далёкий клан, один из сильнейших, с территориями на севере, за рекой, за лесом, за теми землями, куда Теневые не ходили. Северные славились жёсткостью. Их альфы были крупнее, сильнее, древнее. Они жили долго, очень долго, и говорили, что среди них есть те, кто помнит времена, когда люди ещё не пришли на эти земли.

— А я Алина, — сказала она. — Что будете пить?

Они переглянулись. Максим наклонился ближе, и Алина почувствовала его запах так сильно, что у неё закружилась голова. Дым, хвоя, зверь. Его дыхание коснулось её лица, горячее, как из открытой печи, и она увидела, что его глаза стали ещё зеленее, что золото в них разгорелось, что зрачки сузились до тонких вертикальных линий, что клыки удлинились ещё, вышли за линию зубов, и он не прятал их. Не мог прятать. Зверь был слишком близко к поверхности.

— Мы не за этим пришли, — сказал он тихо. Голос его стал ниже, рык в нём усилился, и Алина почувствовала, как вибрация его голоса прошла через стойку, через дерево, через её ладони. — Мы пришли за тобой.

Алина стояла с тряпкой в руках и не понимала, что ей делать. Часть её хотела убежать. Часть хотела остаться. А третья часть, самая пугающая, хотела перегнуться через стойку и уткнуться ему в шею, в то место, где золотая метка пульсировала жаром, и вдохнуть, вдохнуть, вдохнуть его запах, дым и хвою, до головокружения, до обморока. И четвёртая часть, самая тихая, самая глубоко запертая, тянулась не к нему. Тянулась к двери, к стене, к чёрным глазам, которые смотрели сквозь неё и не моргали.

Она посмотрела на Артёма. Он сидел рядом с Максимом и не наклонялся, не давил, не рычал. Он смотрел. Его серые глаза были спокойными, почти человеческими, но Алина видела, что его дыхание стало чуть чаще, что он сглотнул, что мышцы на его челюсти дрогнули. Он контролировал себя, но контроль давался ему с усилием, и Алина видела это усилие, как видят трещину в стене.

Его глаза снова прошлись по ней. Не жадно. Глубоко. Он смотрел на неё так, как будто запоминал. Каждую черту, каждый изгиб, каждую линию. Он смотрел на её ключицы, на впадинку между ними, на то, как воротник футболки чуть сдвинут, обнажая плечо. Он смотрел

на её руки, на то, как она нервно теребит край тряпки. Он смотрел на неё целиком, и Алина почувствовала, что он видит больше, чем Максим. Максим видел добычу. Артём видел человека.

— Ты пахнешь, — сказал Артём. Тихо, почти шёпотом. Не грубо, не жадно. С каким-то удивлением, как будто нашёл что-то, чего не ожидал найти. — Ты пахнешь не как обычная омега. Ты пахнешь... — он замолчал, подбирая слово, и Алина увидела, как его ноздри расширились, как он вдохнул глубже, как его грудь наконец поднялась, глубокий, медленный вдох, как у ныряльщика перед погружением. — Ты пахнешь нашей.

Алина замерла. Тряпка выпала из рук и упала на пол, но она не услышала. Она смотрела на Артёма и видела, как его глаза изменились, серый ушёл, и вместо него появился цвет, которого она не могла назвать. Тёмный, глубокий, как зимнее небо без звёзд.

— Что значит «нашей»? — спросила она, и голос её был тихим, но твёрдым. Она не опускала глаза, хотя инстинкт кричал: опусти, подчинись, уступи. Она не уступала. Два года работы в «Ониксе» научили её не уступать альфам.

— Значит, что ты принадлежишь всем троим, — сказал Максим. Он сказал это как факт, как «сегодня дождь» или «бар закрывается в одиннадцать». Просто, прямо, без извинений. — Так бывает. Редко. Раз в несколько столетий. Но бывает.

— Я никому не принадлежу, — сказала Алина.

Максим посмотрел на неё, и его зелёные глаза расширились. Не от злости. От чего-то другого. От восхищения, может быть. Или от узнавания.

— Нет, — сказал он медленно. — Ты принадлежишь себе. Но зверь в тебе принадлежит зверю в нас. Так устроено. Мы не выбирали.

— И я не выбирала.

— Нет. Ты не выбирала. — Он наклонился ещё ближе. Его дыхание коснулось её щеки, горячее, с привкусом дыма. — Но ты чувствуешь это. Прямо сейчас. Чувствуешь, как тянет. Как внутри что-то сжимается и тянется к нам. Я вижу это по твоим глазам. По твоему пульсу. По тому, как ты стоишь: не уходишь, не прогоняешь, а стоишь и слушаешь.

Алина молчала, потому что он был прав. Она чувствовала. Узел в животе затягивался всё туже, и тянул, и пульсировал, и ей хотелось закрыть глаза и податься вперёд, к нему, к его запаху, к его теплу, к его рукам, которые лежали на стойке, большие, мозолистые, и она знала, что эти руки горячие, знала без прикосновения, знала звериным чутьём, которое было заперто, но не настолько заперто, чтобы не чувствовать альфу.

И к Артёму. К его прохладе, к его серым глазам, к его рукам пианиста, которые лежали на стойке рядом с руками Максима, и от них шёл холод, который не отталкивал, а манил, как тень в жаркий день.

И к Дамиру. К молчанию у двери, к чёрным глазам, к пустоте, в которой не было запаха, но была тяжесть, глубина, что-то, что не тянуло, как нить, а держало, как дно. Как фундамент, без которого мост рухнет.

Артём наблюдал за ней. Его глаза следили за каждым её движением: за тем, как она сглотнула, как её ресницы дрогнули, как пальцы сжались на краю стойки. Он дышал ровно, но Алина видела, что на его виске билась жилка, что он сжимал челюсть, что его руки под стойкой сжаты в кулаки. Он контролировал себя, но контроль стоил ему усилия, и Алина видела это усилие так ясно, как видит человек трещину во льду.

— Мы не причиним тебе вреда, — сказал Артём. Его голос был ровным, но Алина услышала в нём что-то, чего он, может быть, не хотел показывать: голод. Не физический. Другой. Тот, который живёт в груди, а не в желудке. Тот, который четыре сотни лет не знал утоления. — Мы пришли не за этим.

— А за чем? — спросила Алина, хотя знала. Зверь внутри неё знал. Зверь знал с того момента, как дверь открылась и трое вошли, и запах леса, и дождя, и пустоты заполнил бар.

— За тобой, — повторил Максим.

И тогда Дамир заговорил. Впервые. Голос, низкий, без рыка, без вибрации, без тепла. Ровный, как стена. Тихий, как шаг в темноте. И от этого голоса у Алины по спине прошла дрожь, потому что он звучал не из горла. Он звучал изнутри. Из того места, где зверь сидел в клетке. Как будто Дамир говорил не ей, а зверю. И зверь слушал.

— Ты уже знаешь, — сказал Дамир. Три слова. И Алина поняла, что да, знает. Знает так глубоко, что не может не знать. Знает каждой клеткой, каждой частицей запертой силы, каждым обмороком, каждым криком зверя, которого она не слышала. Знает, и потому что молчала всю жизнь. И потому что молчание — это тоже ответ.

Алина моргнула. Выпрямилась. Сунула тряпку под стойку, хотя тряпка уже лежала на полу. Она достала другую, вытерла место, где стоял стакан, хотя место было сухое. Её руки делали привычные вещи, пока голова пыталась понять, что происходит.

— Бар закрывается, — сказала она ровно, хотя голос дрожал где-то внутри, в том месте, где три нити тянули к ним. — Приходите завтра.

Максим посмотрел на Артёма. Артём посмотрел на Максима. Между ними прошла секунда, которую Алина почувствовала как прикосновение: два зверя, два альфы, две силы, которые молча договорились о чём-то. А потом оба посмотрели на Дамира, и Дамир чуть кивнул, едва заметно, как будто одобрил. Не слова. Решение. И Алина не была частью этого разговора, но чувствовала его, как чувствует человек тепло от огня, к которому не подходит.

Максим встал. Его тело поднялось, и Алина увидела, какой он большой. Не просто высокий, массивный. Широкая грудь, широкие плечи, руки, которые могли обхватить её талию и сомкнуть пальцы. Он стоял, и от него шла волна, давление, аура, альфа-сила, которая заставляла мелких зверей забиваться в норы, а омег, опускать глаза. Алина не опустила. Но ей стоило усилия.

Артём встал тоже. Он был другого сложения: выше, но тоньше, как клинок против молота. Его тело двигалось плавно, без рывков, как вода, и Алина увидела, что его дыхание наконец сбилось, что он дышит чаще, что его руки уже не сжаты в кулаки, а расслаблены, но пальцы чуть подрагивают. Он смотрел на неё, и в его глазах было что-то, чего Алина не ожидала увидеть у альфы: печаль.

Дамир отлепился от стены. Двинулся бесшумно, как тень, и Алина заметила, что он выше обоих, не массивнее, а тоньше, длиннее, как столетнее дерево, которое выросло выше остальных, потому что корни уходили глубже. Его чёрные глаза задержались на ней, и в них, на секунду, на одну только секунду, она увидела что-то живое. Не голод. Не печаль. Признание. Как будто он нашёл то, что искал очень, очень долго.

И все трое одновременно улыбнулись. Не весело. Не радостно. А так, как улыбаются хищники, когда добыча пытается убежать, но они знают, что ей некуда идти. Не злорадно. С пониманием. С уважением к попытке.

— Завтра, — повторил Артём. — Конечно. Завтра.

Максим достал из кармана куртки визитку и положил на стойку. Белая, с тёмным шрифтом: «М. Волков. А. Северный. Д. Морозов.» Три имени. Три номера. Алина посмотрела на визитку и не взяла её.

— Завтра, — сказал Максим. — Мы будем здесь в девять.

Они встали и пошли к выходу. Максим шёл впереди, тяжело, как танк, его ботинки гудели по деревянному полу. Артём шёл за ним, тихо, как кот, его шаги почти не слышались. Дамир шёл последним, и Алина поняла, что не слышит его шагов вообще. Как будто он не шёл, а тёк по полу, как тень, как темнота, которая движется сама по себе.

Перед дверью Артём обернулся. Посмотрел на Алину. Один долгий взгляд, серый, глубокий, и Алина увидела, как его ноздри расширились в последний раз, как он втянул её запах, как будто сохранял его на потом, как будто знал, что этой ночи ему хватит надолго.

Дамир не обернулся. Но у двери, уже взявшись за ручку, он остановился. На секунду. И Алина почувствовала, не услышала, не увидела, а почувствовала, как что-то коснулось её изнутри. Не рука, не голос. Присутствие. Тёмное, тяжёлое, как глубина, в которую не падает свет. Касание длилось секунду, и исчезло. Дверь закрылась.

Тихо. Как и открылась.

Алина осталась стоять за стойкой. Руки у неё тряслись. Не от страха. От чего-то другого, чего она не могла назвать. Внутри, в том узле, что затянулся, пульсировало одно слово: завтра, завтра, завтра. Три голоса, слитых в один.

Она подняла тряпку с пола. Вытерла стойку. Выключила свет. Закрыла бар. Вышла на улицу, под дождь, и пошла домой, и каждый шаг отдавался в том месте, где три нити тянули к ним, золотая, горячая; серебряная, холодная; чёрная, бездонная, и она знала, что завтра будет. Что завтра они придут. И что её жизнь, какой она была, закончится.

Визитка осталась на стойке. Белая, с тёмным шрифтом. Три имени. Алина знала, что утром она возьмёт её. Знала, что положит в карман. Знала, что будет носить с собой, как носят амулет, хотя не верит в амулеты.

Дождь бил в лицо. Алина шла и не вытирала его. Ей было всё равно.

Глава 2. Неверие

Я не спала всю ночь.

Лежала в своей маленькой комнате на втором этаже поместья, смотрела в потолок и пыталась убедить себя, что ничего не было. Что три альфы не входили в бар. Что не смотрели на меня так, будто я единственное, что они хотели в этом мире. Что не сказали: мы пришли за тобой. Что мне всё приснилось, и утром я встану, и всё будет как раньше. Как всегда. Как двадцать три года подряд.

Не помогало. Тело помнило. Тело не забывало ничего: ни одного прикосновения, ни одного вдоха, ни одной секунды.

Запах Максима, лес и дым, всё ещё стоял в ноздрях, как будто он был здесь, в моей комнате, дышал рядом, сидел на краю кровати, касался моего плеча. Я чувствовала его кожей, хотя его не было. Запах въелся в волосы, в одежду, в подушку, и сколько бы я ни поворачивалась, он был рядом, тёплый, требующий, от которого внутри сжималось и тут же отпускало.

И запах Артёма. Мёд и мята. Тёплый, обволакивающий, как одеяло, в которое закутываешься зимним утром. От него хотелось закрыть глаза и расслабиться, и отдать всё, не сопротивляться, просто позволить ему быть рядом. Запах, от которого плакать хотелось, не от горя, от чего-то другого, что я не могла назвать.

И третье. Не запах, отсутствие. Дамир не пах ничем, и это «ничего» ощущалось тяжелее, чем дым Максима и мёд Артёма вместе. Пустота, которая не отпускала. Я лежала в темноте и чувствовала: что-то давит. Не на грудь, не на горло, на то место внутри, где зверь сидел в клетке. Как будто кто-то положил ладонь на прутья и держит. Не сжимает, не давит, просто держит. И зверь внутри замолчал. Замолчал и слушал. Впервые за двадцать три года зверь не рвался, не царапался, не кричал, он слушал. И от этого молчания мне было страшнее, чем от всех обмороков вместе.

Три запаха. Вернее, два запаха и одно отсутствие. Тяжесть. Дым, мёд и бездна. Горячее, холодное и то, чему нет температуры.

Мои ноги помнили, как подкашивались. Мой живот помнил, как сжимался в тугой узел, который не развязать ни руками, ни дыханием, ни счётом трещин на потолке. Моя кожа помнила мурашки, которые побежали по рукам, когда Максим наклонился ближе, когда его дыхание коснулось моего лица, когда я увидела его клыки, длиннее обычных, острых, поблёскивающих в тусклом свете бара.

И помнила другое. Как Артём считал мой пульс глазами. Как Дамир сказал три слова, «ты уже знаешь», и они прошли сквозь меня, как камень сквозь воду, до самого дна. Как у двери, перед уходом, что-то коснулось меня изнутри. Не рука, не голос. Присутствие. Тёмное, тяжёлое, как глубина, в которую не падает свет. Секунда, и исчезло. Но тело запомнило. Тело не забывало ничего.

Я перевернулась на бок и посмотрела на окно. За ним начинался сад, а за садом забор, а за забором периметр, который мне запрещено пересекать. Двадцать три года. Двадцать три года я жила внутри этого периметра, выходя только на работу и обратно, по одной и той же дороге, мимо одних и тех же деревьев, и никогда не спрашивала почему. Ни разу. Ни единого раза.

А сейчас, в темноте, в тишине, когда тело горело от чужих запахов и чужого молчания, эти вопросы полезли из меня, как черви из земли. Почему нельзя выходить? Почему одна дорога? Почему обмороки, это норма? Почему чай горький каждый день, шестнадцать лет подряд? Почему хлеб, который печёт Егор, отдаёт горечью, которую я списывала на зерно, а сейчас, ночью, понимаю: не зерно. Трава. Почему мать смотрит мимо меня, а не на меня? Почему нет могилы отца, если он погиб на охоте? Почему я никогда не видела его фотографий?

И новый вопрос, который не было вчера. Почему в обмороках я слышала три голоса? Не один, три. Рычащий, как пламя. Тихий, как снег. И третий, беззвучный, как глубина, в которую не падает свет. Три голоса, которые звали меня по имени, которые я слышала с девяти лет, и которые списывала на болезнь, на слабость, на аномалию слабой омеги. Три голоса. Три альфы. Три метки на шее, которые я принимала за родинки.

Вопросы без ответов. Двадцать три года вопросов без ответов, которые я складывала в коробку, закрывала крышкой и ставила на верхнюю полку, где не достать. А ночью коробка упала, и всё высыпалось.

Я закрыла глаза и увидела сон. Не сон, видение. Я бежала через лес, босая, по мокрой траве, и луна была огромной, низко, так низко, что можно было коснуться. Деревья смыкались над головой, и я бежала, бежала. Справа от меня бежал тёмный силуэт, большой, лохматый, горячий, пахнущий дымом. Рыжий, с медным отливом, с золотым огнём в глазах. Слева, светлый, тише, легче, пахнущий дождём и мятой, с серебряным мерцанием в шерсти. А позади не бежал, а тёк, как тень, как темнота, которая движется сама по себе, чёрная, беззвучная, с глазами, в которых нет белка. Я не видела их лиц, но знала: они мои. Мои. Все трое. И впереди была река, и луна в реке, и я прыгнула, и кто-то положил мне лапу на плечо, тяжёлую, тёмную, без запаха, и я проснулась.

Будильник звенел. Шесть утра. Сад за окном был серый от тумана. Подушка мокрая, от пота или от слёз, я не поняла. Сердце колотилось, как у загнанного зверя. Узел в животе, который затянулся вчера в баре, не развязался. Он спал, свернувшись, как зверь в берлоге, но я чувствовала его. Он ждал. Три нити, золотая, серебряная, чёрная, тянулись куда-то сквозь стены, сквозь туман, и я не видела куда, но знала. К ним.

Я спустилась на кухню.

Мать уже была там. Лидия стояла у плиты, высокая, сухая, с тёмными волосами, собранными в тугой узел на затылке. Ни одна прядь не выбивалась. Она была как натянутая струна, ещё чуть-чуть, и лопнёт. Глаза у неё были такие, как всегда: смотрели мимо тебя, будто видели что-то за твоей спиной, что-то, что занимало её больше, чем ты. Она помешивала что-то в кастрюле, кашу, овсяную, как каждое утро, шестнадцать лет, по одной и той же рецептуре, в одной и той же кастрюле.

— Доброе утро, — сказала я.

— Доброе утро. Садись. Каша.

Я села. Егор, наш дворецкий, старый бета с седой бородой и руками, пахнущими мукой, поставил передо мной тарелку с кашей и ломоть свежего хлеба. Хлеб был тёплый, с коркой, и от него пахло так, что у меня сразу потекли слюнки. Я ела каждый день. Каждый день Егор пёк хлеб. Каждый день мать следила, чтобы я съела всё до крошки. Каждый день, как ритуал, как обряд, как приём лекарства, без которого нельзя.

Я отломила кусок хлеба, поднесла к рту, и вдруг горечь. Та самая горечь, которую я привыкла не замечать, списывала на зерно, на корку, на особенности муки. Сегодня она была отчётливой. Язык проснулся. Вместе с вопросами, вместе с запахами, вместе с узлом в животе, язык проснулся и сказал: это не зерно. Это не корка. Это трава. Горькая, чужая, каждый день, шестнадцать лет.

Я посмотрела на Егора. Он стоял у двери, руки сложены на животе, глаза в пол. Не на меня, в пол. Всегда в пол, когда я ела хлеб. Я думала, скромность. Старомодность. Но сейчас, с проснувшимся языком и проснувшимися вопросами, я поняла: не скромность. Стыд. Егор стыдился. Каждый день, сорок лет, он пёк хлеб с травой, которую ему велели добавлять, и стыдился, и не смотрел мне в глаза.

— Мам, — сказала я, ковыряя кашу ложкой. — Мне нужно тебе кое-что рассказать.

Лидия не обернулась. Рука продолжала помешивать, медленно, ровно.

— Что случилось?

— Вчера в бар пришли трое. Альфы. Из клана Северных.

Ложка замерла.

Лидия не двинулась, не обернулась, не подняла головы, но я почувствовала, как воздух на кухне стал тяжелее. Гуще. Как будто кто-то невидимый налил свинец в каждый угол. Она перестала дышать. Секунда. Две. Три. Потом выдохнула, рвано, коротко, не как выдыхают, а как отрубают, и рука снова заработала, помешивая, медленно, ровно, как будто ничего не было.

— И что им было нужно? — Голос ровный. Слишком ровный. Как замёрзшая река, сверху гладко, а внизу течение, быстрое и тёмное.

— Они сказали, что пришли за мной.

Ложка ударила по краю кастрюли. Звонко, металлически, как выстрел. Лидия обернулась. Медленно, по частям, будто собирала себя заново.

Её лицо было спокойным. Маска, которую она надевала каждое утро, каждый вечер, каждый раз, когда кто-то задавал вопрос, на который она не хотела отвечать. Но глаза. Глаза были другими. В них мелькнуло что-то, что я не могла определить. Не страх, мать не боялась ничего, я знала это. Не удивление, она не удивилась, она ждала этого. Что-то другое. Что-то, что пряталось глубоко, за маской, за тугим узлом волос, за ровным голосом, и только на мгновение, на одну секунду, вырвалось наружу, как зверь из клетки.

Знание. Она знала. Она знала, что этот день наступит. Она готовилась к нему. И всё равно, когда он пришёл, замерла.

— Трое? — переспросила она, и в этом слове, в одной только паузе перед ним, было столько, что хватило бы на целую жизнь. Не «двое». Не «кто-то». «Трое». Она переспросила количество, как будто оно имело значение. Как будто три, это не просто ещё одно число, а что-то, чего она боялась больше, чем чего-либо.

— Да. Максим, Артём и Дамир. Они сказали, что пришли за мной.

Лидия положила ложку на край кастрюли. Тщательно, точно, как хирург кладёт скальпель. Вытерла руки полотенцем. Каждым пальцем отдельно. Села напротив меня. Взяла мою руку в свои.

Её ладони были холодные. Не просто прохладные, холодные, как лёд, как камень, как руки у мёртвого. И я вдруг поняла, с пугающей ясностью, что мать старше, чем кажется. Гораздо старше. Что морщин на её лице меньше, чем должно быть, что кожа слишком гладкая для женщины, которой должно быть сорок пять, что руки, холодные и жёсткие, с мозолями не от кухонного ножу, а от чего-то другого. От оружия. От цепей. От хватки, которую не отпускают.

— Алина, — сказала она тихо. — Ты не должна с ними разговаривать. Ты не должна их слушать. Они чужие. Они опасные. Ты понимаешь?

Я понимала. Или думала, что понимала. Мать говорит, надо слушаться. Мать знает лучше. Мать всегда знала лучше. Двадцать три года мать знала лучше, и двадцать три года я слушалась, ела хлеб, пила чай, не выходила за периметр, не задавала вопросов.

Но внутри, в том узле, что затянулся вчера в баре, что-то дёрнулось. Словно несогласие. Словно часть меня, которая не была послушной дочерью, которая не пекла хлеб по утрам и не ковыряла кашу, а рвалась наружу, как зверь из клетки, подняла голову и посмотрела на мать с недоверием. Впервые. Впервые в жизни я смотрела на мать не снизу вверх, а прямо. И видела то, что не видала раньше.

Стена. Между нами всегда была стена. Я думала, это близость, это забота, это мать-и-дочь. Но это была стена. Тонкая, невидимая, построенная из молчания, из горького чая, из тёплого хлеба, из «не выходи, не спрашивай, не лезь, я знаю лучше». Стена, которую я принимала за дом, а она была клеткой.

— Почему? — спросила я.

Лидия сжала мою руку. Крепче. Пальцы как тиски, косточки хрустнули.

— Потому что я так сказала. Потому что я твоя мать. И потому что я знаю, что для тебя лучше.

— Что ты от меня скрываешь?

Тишина. Лидия смотрела на меня, и в её глазах, за маской, за знанием, за холодом, мелькнуло что-то ещё. Усталость. Двадцать три года усталости.

— Ничего. Я защищаю тебя.

— От кого?

— От всего.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

Я смотрела на неё. Она смотрела на меня. Между нами стол, тарелка с кашей, ломоть хлеба с травой, чашка чая с ядом, и двадцать три года лжи, которую я принимала за любовь.

Впервые я не отвела взгляд.

Лидия заметила. Её рука дрогнула, пальцы разжались, отпустили мою ладонь. Она встала, тяжело, как будто несла свой вес, а не чужой.

— Ешь, — сказала она. — Опоздаешь на работу.

— Мам.

— Ешь, Алина.

Она отвернулась к плите. Спина прямая, узел волос тугой, руки в кастрюлю, помешивать, медленно, ровно. Разговор окончен. Двадцать три года разговор окончен, когда она решала, что окончен.

Но я видела её руки. Они дрожали. Еле заметно, как струна, которую ударили и отпустили. Мать дрожала. Мать, которая не дрожала никогда, дрожала. И я поняла: она знала не просто «что этот день наступит». Она знала, что трое, это конец. Не двое, не один. Трое. Три альфы, это не просто встреча. Это что-то, чего она боялась до дрожи в руках.

Я посмотрела на хлеб. Горечь. Я откусила, прожевала, проглотила. Горечь прошла по горлу, привычная, тёплая, как всегда. Тело приняло. Тело слушалось. Тело не знало, что его травят, потому что травят с детства, и для тела это стало нормой.

Я выпила чай. Горький, с травами, тёплый. Волчья ягода. Я не знала названия тогда. Я узнаю позже. А пока пила, как каждое утро, и горечь была такой знакомой, что без неё чай казался бы неправильным.

Егор стоял у двери. Я посмотрела на него. Он поднял глаза, на секунду, и в его взгляде я увидела то, чего не видела двадцать три года. Мольбу. Старик просил меня. О чём, я не поняла. Может, о том, чтобы я перестала есть хлеб. Может, о том, чтобы я перестала задавать вопросы. Может, о том, чтобы я простила его.

Я не простила. Я не знала ещё, за что прощать. Но я запомнила его взгляд.

Я встала из-за стола.

— До вечера, — сказала я.

— До вечера, — ответила Лидия, не оборачиваясь.

— До вечера, Алина, — сказал Егор тихо, и его голос дрогнул.

Я вышла из дома, и туман облепил меня, как мокрая простыня. Сад был серый, тихий, деревья стояли как столбы, и между ними туман, белый, густой, непрозрачный.

И я почувствовала.

Не услышала, не увидела, почувствовала кожей, как волоски на руках встали, как узел в животе дёрнулся, как рывок поводка. Кто-то смотрел. Кто-то стоял в тумане, за деревьями, и смотрел на меня.

Я обернулась. Туман. Деревья. Тишина. Никого.

Но волоски на руках не ложились. Узел не отпускал. Кто-то был там. Не человек, или человек, но с чем-то большим внутри, чем-то, что делало его присутствие тяжёлым, осязаемым, как камень в воде.

Тень. Между двумя яблонями, в белом тумане, тень, которая не должна была быть. Тёмная, низкая, неподвижная. Она стояла и смотрела.

Или мне показалось. Туман играл тенями, деревья качались, утро было серым и неправильным. Я моргнула, и тень исчезла. Или вросла в ствол. Или ушла вглубь сада, туда, куда я не могла видеть.

Но я знала. Не думала, знала. Это не были Максим и Артём. Не было запаха, ни дыма, ни мяты. Только тяжесть. Только отсутствие. Только бездна, которая смотрела и не пахла.

Дамир.

Или не Дамир. Кто-то, кто двигался так же, беззвучно, как тень, как темнота, которая течёт сама по себе. Кто-то, связанный с матерью, с травами, с хлебом, с периметром, с обмороками. Кто-то, кто знал обо мне то, чего я не знала сама.

Я стояла на крыльце и дрожала. Не от холода. От чувства, что всю мою жизнь кто-то стоял в тени и смотрел. Не те трое из бара. Кто-то другой. Кто-то, кто был здесь задолго до них. Кто-то, кто стоял в тени моего сада двадцать три года и смотрел, как я иду на работу, как я возвращаюсь, как я ем хлеб, пью чай, падаю в обмороки. И я не знала. Не видела. Не чувствовала.

А теперь чувствую.

Я спустилась с крыльца и пошла по дорожке. Туман расступался. Деревья молчали. За забором, за периметром, который мне запрещено пересекать, начинался мир, в который я не выходила никогда.

Три нити тянулись сквозь туман. Золотая влево, к лесу, к теплу. Серебряная вправо, к реке, к холоду. И чёрная прямо, вперёд, в туман, в ту сторону, где стояла тень. Я не видела нитей. Но чувствовала. Каждой клеткой, каждым нервом, каждым вздохом запертого зверя.

Я шла на работу. Я шла по той же дороге, что и вчера, и позавчера, и двадцать три года подряд. Но впервые чувствовала, что дорога ведёт не туда.

Глава 3. Волчья ягода

Я шла на работу и чувствовала, что мир изменился. Не снаружи, снаружи всё было тем же: Ленинградская, фонари, дождь, лужи, в которых отражался жёлтый свет. То же дерево у поворота, та же вывеска «Продукты», та же старая женщина с тележкой. Но внутри меня что-то сдвинулось, как будто кто-то повернул ключ в замке, которого я не знала, и дверь приоткрылась, и из-за неё тянуло холодом и звериным запахом.

Узел в животе не развязался за ночь. Он спал, свернувшись, но я чувствовала его, тугой, пульсирующий, живой. Он тянул меня, как компас тянет стрелку на север, но теперь северов было три. Один там, где пахло дымом и хвоей. Другой там, где пахло мятой и мёдом. Третий там, где не пахло ничем, но тяжесть стояла в воздухе, как грозовая туча, которая не двигается.

Бар встретил меня запахом вчерашнего алкоголя и мокрой тряпки. Денис уже был за стойкой, здоровый бета с рыжими волосами и усталыми глазами, вечно недовольный, но добрый. Он кивнул мне, не поднимая головы от телефона.

— Опять опаздываешь, — сказал он без злости.

— На пять минут, — ответила я, завязывая фартук.

— На семь. Я считал.

Я не спорила. Я вообще не могла спорить сегодня, потому что внутри меня шла своя война, между привычкой быть послушной и новым чувством, которое не имело названия. Чувство, что я что-то упускаю. Что мне что-то принадлежит, и я не знаю что. Что за периметром, за забором, за той чертой, которую мне запрещено пересекать, есть что-то, что ждёт меня.

Визитка лежала в кармане джинсов. Я сунула её туда утром, не глядя, не думая, просто, в карман. Как амулет. Я не доставала её, не читала, не звонила. Но знала, что она там, и от этого знания внутри становилось теплее и страшнее одновременно. Три имени. Три номера. Тяжесть картонного прямоугольника, который весил меньше грамма, но ощущался, как камень.

День прошёл обычно. Клиенты, стаканы, смех, музыка. Я наливала, протирала, болтала. Но каждый раз, когда открывалась дверь, я поднимала голову, и каждый раз разочаровывалась. Не они. Снова не они. Чужие лица, чужие запахи, чужие голоса. Ни дыма, ни хвои. Ни дождя, ни мяты. Ни того, что нельзя уловить носом, но что давит, как глубина.

В половине девятого я уже решила, что они не придут. Что вчерашнее было разовым, зашли, увидели, ушли. Что «завтра» было вежливостью, а не обещанием. И внутри, в том узле, что-то сжалось, не от боли, от разочарования, которое было хуже боли, потому что я не имела права разочаровываться. Я не ждала их. Я не должна была ждать. Троих. Трёх альф. Это было безумие.

В без пяти девять дверь открылась.

Сначала, запах. Дым, хвоя, что-то звериное, сырое, от чего волоски на руках встали, а узел в животе дёрнулся так, что я выронила бокал. Он разбился о стойку, осколки посыпались, звон разнёсся по пустому бару, но я не смотрела на осколки. Я смотрела на дверь.

Максим вошёл первым. Сегодня на нём была чёрная футболка, обтягивающая плечи, и я увидела, какой он большой. Не просто мускулистый, массивный, как скала, как ствол дерева, которое пережило сто зим и ни одну не согнулось. Татуировка на предплечье, волчья голова с оскалом, чёрная, детальная, как фотография. Шрам над бровью белел в тусклом свете. Зелёные глаза нашли меня сразу, как прожектор, и зрачки сузились до вертикальных щелей. Золотая метка на шее пульсировала тёплым светом.

Артём вошёл за ним. Сегодня, без костюма, в сером свитере с высоким горлом, и от этого казался моложе, мягче. Но я уже знала: мягкость, иллюзия. Под свитером были мышцы, которые двигались, как тросы, и руки, которые могли сломать хребет не задумываясь. Серые глаза

были спокойны, но я видела, что его дыхание участилось при виде меня, что ноздри расширились, что он втянул мой запах, как воду после жажды. Серебряная метка холодно мерцала.

А потом, снова. Как вчера. Не увидела, а почувствовала. Воздух стал тяжелее. Темнота, гуще. Не от света, от присутствия. Дамир не вошёл, он проявился, как тень на стене, когда солнце заходит за угол. Я перевела взгляд и увидела его у двери, и снова не поняла, как он оказался внутри, потому что дверь не открылась во второй раз. Он прошёл вместе с ними? Или, сквозь них? Или просто был всегда, а я заметила только сейчас?

Чёрные глаза без белка. Шрам от костяного ножа на шее. Чёрная метка, которая не светилась, а втягивала свет. И, ничего. Ни запаха, ни звука, ни движения. Только тяжесть, которая стояла в воздухе, как давление на дне океана.

Три альфы. Три метки, золотая, серебряная, чёрная. Три нити, которые дёрнулись внутри меня одновременно, и я чуть не упала, ухватившись за стойку.

Они сели на те же места, что и вчера. Максим справа, Артём слева. Дамир не сел. Встал у стены, скрестив руки на груди, и его чёрные глаза не отрывались от меня. Между тремя я. Как между трёх стихий: огонь, лёд и бездна.

— Привет, — сказал Максим. Не как вопрос. Как факт. Как «я здесь, ты здесь, мир на месте».

— Привет, — ответила я, собирая осколки. Руки тряслись. Один осколок порезал палец, кровь выступила красной каплей, и я увидела, как все трое замерли. Замерли, как замерзают звери, когда чуют кровь. Зелёные глаза Максима расширились, зрачки стали почти круглыми. Артём сглотнул, его челюсть дрогнула. А Дамир, Дамир сделал шаг вперёд. Один. Бесшумный. Его чёрные глаза сфокусировались на капле крови, и Алина увидела, как его ноздри расширились, не от запаха, а от инстинкта, который был глубже запаха. Инстинкта, который жил не в носу, а в костях.

— Царапина, — сказала я быстро, засовывая палец в рот. Вкус крови, железо и соль. — Бывает.

Максим выдохнул. Резко, рвано, как будто держал дыхание. Его рука на стойке сжалась в кулак, костяшки побелели. Я видела, как он борется, со зверем, с инстинктом, с тем, что кричит внутри: «Она ранена, она наша, мы должны»

Дамир отступил обратно к стене. Молча. Но его глаза не отрывались от моего пальца, от красной капли, и я чувствовала, не глазами, чем-то другим, что он запомнил. Каждую каплю. Каждый атом запаха крови. Запомнил и убрал куда-то глубоко, как зверь, который прячет добычу.

— Что будете пить? — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Ничего, — сказал Артём. Его голос был мягче, чем вчера, в нём была нотка, которую я не слышала раньше, не сталь, а бархат. Мы пришли не пить.

— А зачем?

— Поговорить, — сказал он. — Если ты позволишь.

Максим посмотрел на Артёма с чем-то похожим на раздражение. Ему не нравилось «если позволишь». Ему нравилось «мы пришли, ты наша, поехали». Но он молчал, и я видела, что это молчание стоило ему усилия.

— Бар открыт, — сказала я. — Говорите.

Артём наклонился вперёд. Не близко, не как вчера, когда Максим дышал мне в лицо. Держа дистанцию. Уважая. И от этого уважения мне стало ещё страшнее, потому что я не привыкла, чтобы альфы уважали омегу. В моём мире альфы приказывали, а омеги подчинялись. В моём мире мать травила дочь, а дочь ела хлеб и говорила «спасибо».

— Ты знаешь, что такое истинная пара? — спросил Артём.

— Да. Каждый волк знает. Связь между альфой и омегой, которая проходит через тело и душу. Навсегда. Неразрывная.

— А истинная пара для трёх альф?

Я замолчала. Слышала об этом. В старых книгах, в легендах, которые рассказывали у костра, когда старейшины думали, что дети не слушают. Раз в несколько столетий рождается омега, чья сила настолько велика, что её хватает на трёх альф. И не просто хватает, она связывает их, делает четверых одним целым. Три зверя, одно сердце. Четвёртая, та, что держит их всех. Такая связь считалась не просто редкой, невозможной. Мифом. Тем, чего не бывает, как не бывает драконов или русалок.

Я посмотрела на Дамира. Он стоял у стены, неподвижный, чёрный, как провал в ночном небе, и его глаза, без белка, без радужки, смотрели на меня с тем же выражением, что и вчера. Признание. Как будто он нашёл то, что искал очень, очень долго.

— Это легенда, — сказала я. Голос дрогнул.

— Нет, — сказал Максим. Его голос был хриплым, рычащим, и я видела, что зверь в нём близко, очень близко, что он едва держит его. — Это не легенда. Мы триста лет искали тебя. Артём, четыреста.

Пауза. Максим не продолжил. Посмотрел на Дамира. Дамир молчал. Артём повернулся к нему, и в его серых глазах мелькнула тень, не раздражение, а привычная боль. Терпение, которое длилось дольше, чем терпение кого-либо из них.

— Дамир не помнит, — сказал Артём тихо. — Он не помнит, сколько. Больше. Гораздо больше.

Тишина. Тяжёлая, как бетон. Я стояла за стойкой, с тряпкой в руке, с порезанным пальцем, с разбитым бокалом, и мир вокруг меня замер.

— Триста лет, — повторила я.

— Триста два, — уточнил Максим без тени улыбки.

— Четыреста семь, — добавил Артём, и в его голосе была не гордость, а усталость. Четыреста семь лет одиночества, четыре столетия без запаха, без тепла, без той, ради которой зверь рождается.

Я посмотрела на Дамира. Он стоял, и от него не было ни звука, ни запаха, ни движения. Только чёрные глаза. И я вдруг поняла, что «не помнит» — это не забывчивость. Это то, что бывает, когда живёшь так долго, что время перестаёт иметь значение. Когда столетия сливаются в один серый поток, и ты не отличаешь одно тысячелетие от другого, потому что без той, ради которой ты живёшь, все тысячи одинаковы.

— Мы пришли не потому что хотели, — сказал Артём. — Мы пришли потому что не могли не прийти. Зверь привёл. Связь привела. Ты привела.

Я смотрела на них и не знала, что чувствовать. Страх, да. Недоверие, конечно. Но под страхом, под недоверием, в том месте, где узел пульсировал и тянул, было что-то другое. Узнавание. Как будто я знала их всю жизнь. Как будто они были теми, кого я искала в обмороках, в снах, в тумане сада, когда видела тень между деревьями. Три голоса, которые звали меня с девяти лет. Три силуэта в лунном лесу. Три нити, которые я не видела, но чувствовала, золотая, серебряная, чёрная.

— Вы не знаете меня, — сказала я.

— Знаем, — ответил Максим. — Мы знаем твой запах. Знаем твой пульс. Знаем, что ты пьёшь чай с волчьей ягодой каждый день шестнадцать лет. Знаем, что мать запирает тебя. Знаем, что старейшина травит тебя. Знаем, что твой зверь заперт и кричит. Мы знаем больше, чем ты сама.

От его слов мне стало холодно. Не от страха, от правды. Потому что каждое слово было правдой, и я чувствовала эту правду не головой, а телом, каждым нервом, каждой клеткой, каждым волоском на коже.

— Откуда вы знаете про чай? — прошептала я.

— Потому что запах травы в твоём чае — это запах слабости. Запах подавленного зверя. Мы чуем его за километр. Чуяли с первого вдоха, когда вошли вчера. Ты пахнешь волчьей ягодой и страхом и чем-то ещё, что пробивает нас насквозь, как молния. Истинной. Ты пахнешь истинной.

Я опустила глаза. Не потому что подчинялась, потому что не могла смотреть. Слишком много. Слишком близко. Слишком правда.

— Что вы хотите? — спросила я тихо.

Максим встал. Медленно, как поднимается горный хребет. Он обошёл стойку, и я отшатнулась, но он не касался меня. Он стоял рядом, за стойкой, рядом со мной, и его запах заполнил всё, дым, хвоя, зверь, и я задохнулась, и узел в животе затянулся так туго, что стало больно, и боль была сладкой, тянущей, от которой хотелось закрыть глаза и податься вперёд, к нему, к его теплу, к его рукам.

— Мы хотим, чтобы ты перестала пить яд, — сказал он, и голос его стал мягче, рык ушёл, осталась только хрипота, и я услышала в ней что-то, чего не ожидала: заботу. Грубую, неуклюжую, как у зверя, который не умеет гладить и потому прижимает к земле. Но заботу. — Мы хотим, чтобы твой зверь вышел. Мы хотим, чтобы ты была собой. Не той, кого сделали травы и ложь. Собой.

Артём подошёл с другой стороны. Теперь я стояла между двумя из них, и их запахи смешивались, дым и мята, огонь и лёд, и от этого смешения внутри меня что-то треснуло. Не сломалось, треснуло, как лёд весной, и из трещины пошло тепло. Не от них, из меня. Из того места, где зверь сидел шестнадцать лет в клетке из волчьей ягоды.

— Мы не причиним тебе вреда, — сказал Артём. Его голос был близко, его дыхание касалось моего виска, тёплое, с привкусом мяты. — Но мы не уйдём. Не можем. Зверь не позволит. Связь не позволит.

— А если я скажу: уходите?

— Мы уйдём, — сказал Артём.

— Мы уйдём, — повторил Максим, и в его голосе была боль, которую он не прятал. — Но вернёмся. Завтра. И послезавтра. И через год. Пока ты не перестанешь пить яд и не позволишь зверю выйти. Мы будем приходить, пока не услышим его. Мы будем ждать, сколько нужно.

Я стояла между двух альф и чувствовала, как мир, который я знала, рассыпается, как песок. Но чего-то не хватало. Не хватало третьего. Я обернулась, и Дамир был рядом. Не подошёл, был. Как будто стоял здесь всегда, с той секунды, как я обернулась, и до неё, и до того, как вошёл. Его чёрные глаза смотрели на меня, в меня, сквозь меня, и от этого взгляда что-то внутри меня, что-то глубже зверя, глубже узла, глубже всех трёх нитей, дрогнуло.

Он не сказал «мы уйдём». Не сказал «мы вернёмся». Не сказал ничего. Просто стоял и смотрел. И я поняла, без слов, без запаха, без прикосновения, что он не уйдёт. Не потому что не может. Потому что бездна не уходит. Бездна остаётся. Бездна ждёт. Бездна была, есть и будет, с того момента, как я родилась, и до того, как умру. Он не обещал вернуться, потому что он никуда не уходил.

Его рука поднялась, медленно, как движение тьмы, и пальцы, длинные, тёмные, коснулись моей шеи. Не кожи, меток. Трёх меток, которые я принимала за родинки. Золотая вспыхнула жаром. Серебряная, холодом. Чёрная ничем. Но от прикосновения Дамира все три запульсировали одновременно, и я почувствовала, как три нити натянулись, золотая к Максиму, серебряная к Артёму, чёрная к Дамиру, и замкнулись. Не до конца. Не полностью. Но замкнулись, как электрическая цепь, в которую пустили ток, и лампа мигнула, не загорелась, но мигнула, и в этом мигании была вся моя будущая жизнь.

Дамир убрал руку. Отступил. Его лицо не изменилось, маска, поверхность чёрной воды. Но в его глазах, на одну секунду, я увидела то, чего не видела раньше. Не голод. Не признание.

Тоску. Такую глубокую, такую старую, что у неё не было дна. Тоску существа, которое ждало так долго, что забыло, чего ждёт, и вот нашло, и не знало, что делать.

Он ничего не сказал. Просто исчез, как тень, которую перекрыл свет.

Максим и Артём переглянулись. В их взглядах было что-то, чего я не понимала: не злость, не ревность, уважение. Как будто Дамир сделал то, чего ни один из них не мог. Коснулся. Связал. Замкнул.

— Мы будем рядом, — сказал Максим. Не «завтра». Не «скоро». Просто «будем рядом». Как факт. Как закон. Как гравитация.

— Ты нас почувствуешь, — добавил Артём. — Когда будешь готова.

Они ушли. Максим, тяжело, гулко. Артём, тихо, плавно. Дверь закрылась. Тишина.

Я стояла за стойкой, с порезанным пальцем, с разбитым бокалом, с тремя метками на шее, которые горели, золотая, серебряная, чёрная, и не гасли. И в этой темноте, в этой тишине, в этом пустом баре, я впервые услышала зверя. Не крик. Не рык. Не царапанье изнутри. Шёпот. Тихий, как дыхание:

«Ещё немного. Ещё немного, и я выйду.»

Глава 4. Побег

Владлен Сергеич узнал быстрее, чем я думала. В клане Теневых у него были глаза и уши в каждом углу: в баре, в магазине, на почте, у забора поместья. Кто-то увидел, кто-то доложил, кто-то шепнул. И на третий день после визита альф, когда я вернулась с работы, у калитки стоял Егор. Не внутри, не у двери, снаружи, у калитки, что было само по себе знаком. Егор не выходил к калитке никогда.

— Алина, — сказал он, и его голос, обычно тихий и ровный, был сегодня надтреснутым, как старая чашка. — Лидия Павловна просит зайти к старейшине. Сейчас.

Сердце упало в живот и затянулось узлом, который не отпускал уже третий день. К старейшине. Владлен Сергеич хотел меня видеть. Это не могло быть хорошим.

— Зачем? — спросила я.

Егор посмотрел на меня, и в его глазах, старых, мутных, была та же мольба, что и утром у кухни. Но сегодня к ней добавилось что-то ещё: страх. Настоящий, животный, от которого у старого волка дрожали руки.

— Не могу сказать, — прошептал он. — Иди, девочка. Иди скорее.

Дом старейшины стоял в центре поместья, двухэтажный, кирпичный, с чёрной крышей и окнами, которые всегда были закрыты ставнями. Как будто дом спал или притворялся спящим. Я входила туда трижды в жизни: в семь лет, когда мать привела меня «знакомиться», в четырнадцать, когда у меня была первая течка и старейшина «благословил» меня, и в двадцать один, когда я «попросила разрешение» работать в баре. Каждый раз: холод, темнота, запах старого дерева и чего-то горького, как медицина.

Владлен сидел в кресле у камина, в котором не было огня. Седые волосы зачёсаны назад, руки сложены на коленях, пальцы, длинные, тонкие, как у хирурга. Он смотрел на меня, и его аура давила, как бетонная плита, как потолок, который опускается, и ты не можешь дышать, не можешь двигаться, не можешь думать.

— Садись, — сказал он. Тихо, шёпотом, но я села, как будто мне приказали криком.

— Лидия сказала, что к тебе приходили. Альфы. Из Северных.

— Да.

— Сколько?

Пауза. Не «кто». Не «что хотели». «Сколько». Как у матери на кухне. Одно слово, в котором целый мир страха.

— Трое, — сказала я.

Тишина. Но другая. Не та, что была с матерью, рваная, нервная, с дрожащими руками. Эта тишина была тяжёлой, как свинец, как могильная плита. Владлен не двинулся, не моргнул, не изменился в лице. Но я почувствовала, как его аура стала тяжелее. Плотнее. Как будто воздух в комнате превратился в воду, а воду, в камень.

— Трое, — повторил он, и в этом слове было что-то, чего я не слышала раньше. Не удивление. Не злость. Знание. Он знал, что это значит. Три альфы, не двое. Не один. Три. И это меняло всё, потому что связь на троих — это не просто редкость. Это сила, способная разрушить клан. Его клан. Сорок лет строительства. Сорок лет контроля.

— Что они хотели?

Я открыла рот, чтобы соврать. Чтобы сказать: ничего, просто зашли выпить. Но слова застряли, потому что зверь внутри меня, тот, который проснулся три дня назад, когда дверь бара открылась и вошёл запах дыма и мяты и пустота, которая тяжелее запаха, не позволил мне соврать. Он толкнул, как толкают изнутри кулаком, и вместо лжи вышла правда:

— Они сказали, что я их истинная.

Тишина. Владлен не двинулся, не моргнул, не изменился в лице. Но я почувствовала, как его аура стала тяжелее. Плотнее. Как будто воздух в комнате превратился в воду, а воду, в камень.

— Истинная, — повторил он. — Для трёх альф.

— Да.

— И ты им поверила?

— Я ещё не решила.

Он смотрел на меня долго, так долго, что я начала дрожать. Его глаза были светлыми, почти бесцветными, как зимнее небо, и в них не было ничего: ни тепла, ни злости, ни интереса. Только контроль. Абсолютный, давящий, как гравитация.

— Алина, — сказал он, и в его голосе была та же тихая сила, от которой опускались глаза даже у альф. — Ты слабая омега. Твоя аура не способна на истинную связь. Эти альфы, чужаки, и они лгут тебе. Они хотят использовать тебя. Ты понимаешь?

Я понимала. Или думала, что понимала. Двадцать три года мать говорила: слабая. Егор молчал. Владлен подтверждал. Слабая, хрупкая, больная, нужно беречься, нужно пить чай, нужно есть хлеб. Двадцать три года одной песни, и я верила, потому что альтернативы не было.

Но три дня назад дверь бара открылась, и вошёл запах, от которого зверь внутри меня заплакал от счастья. И пустота, которая была тяжелее запаха. И три слова, которые прошли насквозь: «ты уже знаешь». И я не могла больше верить.

— Я понимаю, — сказала я. — Но они не лгут.

Владлен встал. Медленно, как встают те, кто знает, что их движение, уже приказ. Он подошёл ко мне, и его аура навалилась так, что я согнулась в кресле, как под тяжестью.

— Ты не выйдешь из поместья, — сказал он. — С сегодняшнего дня. Бар, забудь. Работа, забудь. Ты останешься дома, пока я не решу, что делать. Егор будет следить. Лидия будет варить чай. Ты будешь пить, как всегда. И через месяц ты забудешь этих альф, как забывают дурной сон.

Я хотела кричать. Хотела вскочить, ударить, вырваться. Но его аура держала меня, как цепи, и я не могла пошевелиться. Только слёзы, тихие, злые, бессильные, покатились по щекам.

— Это для твоего блага, — сказал Владлен, и это было самое страшное: он верил. Он действительно верил, что запирает меня для моего блага. Что травит меня для моего блага. Что ломает меня для моего блага.

Он повернулся к камину. Помолчал. Потом, не оборачиваясь, тихо:

— Если кто-то из них подойдёт к периметру, я узнаю. И я их встречу.

Я не спрашивала, что значит «встречу». Я знала. Владлен Сергеич сорок лет держал клан, и за эти сорок лет ни один чужак не вошёл и не вышел без его ведома. Три альфы из Северных, даже древние, даже сильные, не были для него проблемой. Они были угрозой. А угрозы он устранял.

Мать ждала у двери. Лидия стояла, как тень, бледная, с сухими глазами, и когда я вышла, она взяла меня за руку, холодными, жёсткими пальцами, и повела домой, как ребёнка, который нашкодил.

Мы шли молча. Через сад, по дорожке, мимо яблонь. И вдруг мать остановилась. Не повернулась, не посмотрела, просто остановилась, и её рука, которая держала мою, сжалась крепче, и я услышала, как она дышит: быстро, рвано, как перед криком.

— Алина, — сказала она, не оборачиваясь. — Третий. С чёрными глазами. Он приходил раньше.

Я замерла.

— Что?

— Давно. Когда ты была маленькой. Он стоял за забором. Как тень. Я видела его из окна. Он стоял и смотрел. Не на меня, на тебя. На твоё окно. Каждый вечер. Полгода. А потом исчез.

— И что ты сделала?

Мать молчала. Долго. Так долго, что я подумала, не ответит. Потом:

— Ничего. Я рассказала Владлену. Он сказал, он знает. Сказал, это контролируемо. Сказал, не волнуйся.

— И ты не волновалась?

Лидия обернулась. Её лицо было белым, глаза сухими, но за сухостью я видела то, что пряталось все эти годы. Страх. Не перед Владленом. Не перед альфами. Перед тем, что она наделала. Перед тем, что нельзя исправить.

— Я волновалась каждый день, — сказала она. — Каждый день двадцать три года. Но я делала, что мне сказали. Потому что думала, так лучше. Потому что думала, так безопасно.

Она отпустила мою руку. Повернулась. Пошла к дому. Спина прямая, узел волос тугой. Разговор окончен. Но я видела, что её руки дрожали. Двадцать три года дрожали.

Три дня. Три дня я сидела в своей комнате, смотрела в окно, пила чай с волчьей ягодой и ела хлеб Егора, и с каждым глотком чувствовала, как зверь внутри меня затихает. Засыпает. Уходит на дно, как рыба, которой бросили яд в воду. Я задыхалась от горечью и тишины, и узел в животе, который три дня назад горел и пульсировал, стал тусклым, вялым, как угасающий огонь.

Три нити, золотая, серебряная, чёрная, натянулись и ослабли. Золотая последней. Она держалась дольше всех, как тлеющий угол, который не хочет гаснуть. Серебряная раньше, как иней, который тает под солнцем. Чёрная не ослабла. Она не натянулась и не ослабла. Она просто была. Как гравитация. Как дно. Траву нельзя убрать из того, чего не видишь, и чёрная нить была не в теле, она была глубже. В том месте, куда волчья ягода не доставала.

На четвёртый день, ночью, я услышала.

Не ушами, кожей, костями, тем местом внутри, где жил зверь. Рёв. Далёкий, приглушённый, как будто кто-то кричал сквозь стены, сквозь землю, сквозь всё, что нас разделяло. Но не один рёв. Два. Один, хриплый, рычащий, полный боли и ярости. Знакомый. Максим. Второй, тише, выше, как стон, как ветер, который проходит сквозь щель в стене. Артём. Два голоса, которые я узнавала так же, как узнавала их в обмороках.

А третий, беззвучный. Но я его слышала. Не ушами, не кожей, чем-то другим. Чем-то, что не имело названия, что жило глубже зверя, глубже тела, в том месте, где чёрная нить не ослабла. Третий голос не ревел и не стонал. Он давил. Как глубина, которая поднимается. Как дно, которое сдвигается. И от этого давления зверь внутри меня, который уже почти спал, почти затих, вдруг открыл глаза.

И ответил.

Не звуком, вспышкой, которая прошла через тело, как ток, и три метки на шее, золотая, серебряная, чёрная, вспыхнули одновременно. Золотая жаром. Серебряная холодом. Чёрная ничем. Но от чёрной я почувствовала то, чего не чувствовала от первых двух: присутствие. Не где-то за забором, здесь. В комнате. В воздухе. В темноте, которая стала гуще на несколько граммов.

Я подбежала к окну. За забором, в темноте, в тумане, который поднимался от земли, как дыхание, две тени. Одна, большая, тяжёлая, рыжая даже в темноте, неподвижная, как скала. Другая, выше, тоньше, двигалась медленно, как крадущийся зверь. Максим и Артём. Я знала, даже не видя.

А третий, не видела. Но знала, что он есть. Где-то здесь. Не у забора, ближе. Или дальше. Или там, где забор не нужен, потому что он проходит сквозь стены, как тень, как темнота, которая движется сама по себе.

Тень у забора шевельнулась. Максим, я знала, даже не видя, прислонился к кирпичной стене, поднял голову и завыл. Не громко, тихо, на выдохе, как стон, но я услышала каждой клеткой. Артём стоял рядом, и от него шло не звук, а волна, холодная, ровная, как прилив,

который не бьёт, а накрывает. Зверь внутри меня рванулся, клетка из волчьей ягоды затрещала, и я поняла: сегодня ночь. Сегодня я уйду.

Я оделась, быстро, в темноте, дрожащими руками. Джинсы, кроссовки, куртка. Визитка из кармана, в карман. Телефон на тумбочке, не брать. Ключ от задней двери: Егор всегда оставлял его под горшком у крыльца, и я молилась, что не убрал.

Я спустилась. Тихо, на цыпочках, мимо комнаты матери, где Лидия спала, или притворялась, что спала. Через кухню, где пахло вчерашней кашей и горечью. Через заднюю дверь, которая скрипнула, коротко, тихо, но в тишине ночи этот скрип прозвучал, как выстрел.

Я замерла. Тишина. Мать не вышла. Егор не окликнул.

Но Егор стоял у задней двери. Не у входа, у выхода. Не преграждая путь. В стороне. С ключом в руке. Он не убрал ключ под горшок. Он держал его для меня. Молча. С тем же взглядом, что и всегда: стыд, мольба, и что-то новое, чего я не видела раньше. Решение. Старый волк, который молчал сорок лет, наконец решился.

Он протянул мне ключ. Я взяла. Его пальцы коснулись моих, тёплые, дрожащие, в муке и шрамах.

— Беги, — прошептал он. — Беги, девочка. Я задержу, сколько смогу.

Я хотела сказать спасибо. Хотела обнять его. Хотела спросить, почему сейчас, после сорока лет молчания? Но не было времени. Я кивнула, и Егор кивнул, и между нами прошла секунда, которая стоила сорока лет.

Я побежала, через сад, мимо яблонь, по мокрой траве, к забору. У забора, в тени, стоял Максим. Рядом Артём. Они ждали.

— Ты готова? — спросил Максим, и его голос был хриплым, рычащим, и зелёные глаза горели в темноте, как два костра.

— Я не знаю, — сказала я честно.

— Хорошо, — сказал он. — Честный ответ. Тогда прыгай. Я поймаю.

Забор был два с половиной метра. Я никогда не лазила через заборы. Я была послушная девочка, которая ела хлеб с травой и не выходила за периметр. Но сегодня ночью зверь внутри меня, проснувшись от воя альфы, толкнул так, что я прыгнула, не думая, не боясь, просто прыгнула, и чьи-то руки, большие, тёплые, пахнущие дымом, поймали меня в воздухе, прижали к груди, и я услышала его сердце, быстрое, громкое, как барабан, и зверь внутри меня заплакал от счастья, и клетка треснула ещё раз.

— Держу, — сказал Максим, и это слово было клятвой.

Артём стоял рядом. Не касался. Но я видела его глаза, серые, глубокие, и в них была та же клятва. Тихая, без слов, без рыка, без обещаний. Просто: я здесь. Я не уйду.

— Нам нужно идти, — сказал Артём. — Быстро. Владлен выставил охрану по периметру. Двое бета на восточной стороне, один на западной. Через десять минут смена.

— А третий? — спросила я, и голос дрогнул, потому что я знала, кого спрашиваю. — Где Дамир?

Максим и Артём переглянулись. Пауза. Не неловкая, весёлая? Нет. Не весёлая. Что-то другое. Как будто я задала вопрос, на который у них не было ответа, и они оба к этому привыкли.

— Дамир там, — сказал Максим. — Он всегда там. Просто ты его не видишь.

— Где там?

— Везде, — сказал Артём. — Он не пришёл с нами. Он был здесь. Он был здесь, когда мы пришли. Он был здесь до нас.

Я посмотрела в темноту. Деревья, туман, тени. Ничего. Но волоски на руках стояли, и чёрная нить тянулась, не к забору, не к лесу, а куда-то вглубь сада, туда, откуда я прибежала. И я поняла. Дамир не стоял у забора. Дамир стоял в саду. В тумане, между яблонями. Той

самой тенью, которую я видела утром, перед работой. Той самой тенью, которую мать видела из окна, когда я была маленькой.

Он стоял и смотрел. Каждый вечер. Полгода, когда мне было семь. И сейчас, когда мне было двадцать три. Он стоял в тени моего сада и смотрел на моё окно, и я не знала. Не видела. Не чувствовала. А он был.

— Он войдёт в дом? — спросила я.

— Дамир не входит, — сказал Максим. — Дамир появляется. Когда нужно. Где нужно.

Я хотела спросить ещё, но Артём тронул меня за локоть, мягко, осторожно, как трогают что-то хрупкое.

— Потом, — сказал он. — Сейчас бежим.

И мы побежали. Втроём, нет, я и двое. Дамир не бежал с нами. Дамир был везде и нигде, как тень, которая не привязана к телу. Но я чувствовала его, чёрную нить, которая не натянулась и не ослабла, а просто тянулась, как гравитация, как дно, на котором стоишь и не видишь.

В темноту, в туман, в лес, который начинался сразу за периметром, в мир, в который я не выходила никогда. Босая, в чужой куртке, с горьким вкусом шестнадцати лет на губах, и с двумя альфами по бокам, от которых пахло дымом и мятой, огнём и льдом. И с третьим, беззвучным, без запаха, без формы, который был рядом, как темнота рядом со светом. Не видимый. Не осязаемый. Но абсолютно, безусловно, повсюду.

Зверь внутри меня, запертый, отравленный, почти убитый, впервые в жизни поднял голову и завыл. Три нити горели, золотая, серебряная, чёрная, и не гасли.

Глава 5. Дом Северных

Лес встретил меня темнотой и запахом сырой земли. Не городской темнотой, не той, что между фонарями, не той, что в переулках, где всегда горит хоть один огонь. Лесная темнота была полной, абсолютной, как будто кто-то выключил свет во всём мире, и только глаза звериные, золотые, серые горели по бокам, как маяки. А третий маяк не горел. Но я знала, что он есть. Чувствовала кожей, костями, тем местом внутри, где чёрная нить тянулась не к лесу, не к реке, а вглубь, как корень дерева, который ушёл под землю и не виден, но держит всё, что наверху.

Мы бежали минут двадцать. Я не знала, куда, просто бежала, спотыкаясь о корни, проваливаясь в ямы, хватаясь за стволы. Максим бежал рядом, не касаясь, но так близко, что его тепло доходило до меня через куртку, и от этого тепла золотая метка на шее пульсировала, как второе сердце. Артём бежал сзади, и я слышала его дыхание ровное, контролируемое, как метроном, и от него шла прохлада, которая не остужала, а обнимала, как тень в жаркий день.

Дамира я не видела. Не слышала. Не чувствовала шагов. Но чёрная нить не ослабла, значит, он был рядом. Где-то в темноте, в тенях между деревьями, в том пространстве, куда не падал свет. Бездна не бежит. Бездна течёт.

Когда деревья расступились, я увидела дом. Нет, не дом. Крепость. Двухэтажный бревенчатый сруб, тёмный, массивный, с широким крыльцом и окнами, в которых горел тусклый свет. Вокруг поляна, расчищенная, с пнями, на которых сидели птицы, и река тёмная, быстрая, шумела за деревьями. Воздух пах хвоей, дымом, рекой живой, настоящий, не как стерильный воздух поместья, в котором я прожила двадцать три года.

Максим открыл дверь. Толкнул плечом, без ключа, дверь была не заперта. Внутри тепло. Печь, каменная, в углу, с догорающими поленьями. Мебель простая, тяжёлая, дубовая: стол, стулья, диван у окна. На стенах шкуры, луки, ножи. Ничего лишнего. Ничего женского. Мужское логово, логово трёх альф, которые жили здесь одни. Триста лет, четыреста лет и вечность.

Я остановилась на пороге. Не от страха, от ощущения, которое не могла назвать. Как будто дом дышал. Как будто брёвна, камни, шкуры на стенах, всё это было живым, всё ждало. Как будто дом тоже искал меня. Триста лет. Четыреста. И дольше.

— Это твой дом теперь, — сказал Максим, и от этих слов мне стало одновременно тепло и страшно. Тепло, потому что «дом» звучало как обещание. Страшно, потому что я не знала, готова ли я иметь дом, в котором нет горького чая и хлеба с травой.

Артём снял с меня куртку. Аккуратно, как снимают с ребёнка, которого забрали из холодного леса. Его пальцы на секунду задержались на моих плечах, тёплые, сухие, и я почувствовала, как серебряная метка на шее дрогнула, как будто узнав его прикосновение.

— Ты голодная? — спросил он.

— Нет. — Я хотела сказать «да», но желудок был завязан узлом, и еда казалась невозможной. — Я хочу понять. Хочу знать всё. Что вы от меня скрывали. Что мать скрывала. Что Владлен скрывал. Всё.

Они переглянулись. Тот же безмолвный разговор, что и в баре: два зверя, два альфы, которые решали без слов, кто будет говорить первым.

Артём сел напротив меня, сложив руки на столе. Его серые глаза были спокойны, но я видела, что под спокойством напряжение, как тетива лука, натянутая до предела.

— Тебя травят с семи лет, — сказал он. — Волчья ягода, корень, который подавляет ауру оборотней. В малых дозах незаметно. Ты пьёшь его каждый день шестнадцать лет. Твой зверь заперт в клетке из этой травы. Он просыпается только в обмороках, тогда, когда доза в крови падает. Каждый обморок — это зверь, который пытается вырваться и не может.

Я слушала, и внутри всё сжималось, как кулак. Не от его слов, от правды, которую я уже знала, но не позволяла себе знать.

— Кто? — спросила я, хотя знала.

— Мать. По приказу Владлена. Егор подмешивает в хлеб. Мать, в чай. Это в документах, Алина. Жёлтые папки в подвале дома старейшины. «Объект А. Воронина. Цель: подавление развития ауры». Твоё имя, объект. Тебя не лечили. Тебя ломали.

— Зачем?

Максим сел рядом со мной. Так близко, что его колено касалось моего, и от этого касания по телу прошла волна жгучая, горячая, от которой золотая метка на шее вспыхнула снова.

— Потому что ты, истинная пара трёх альф, — сказал он, и его голос стал тише, рык ушёл, осталась хрипота и что-то похожее на нежность, которую он не умел выражать словами и выражал близостью. — Истинная пара трёх альф — это сила. Невиданная, древняя, способная менять кланы, ломать старейшин, создавать новые законы. Владлен это знал. Он знал, что если твой зверь проснётся, ты станешь сильнее его. Сильнее любого в клане. И он решил не дать тебе проснуться.

— Он не просто подавлял твою силу, — добавил Артём. — Он готовился. Создавал систему контроля. Хотел, чтобы ты осталась слабой, послушной, управляемой. А когда, если появятся твои истинные, он хотел, чтобы связь не замкнулась. Чтобы зверь в тебе не узнал зверя в альфах. Чтобы ты осталась его.

— Но связь замкнулась, — сказала я тихо.

— Да, — ответил Максим. — В ту ночь, в баре. Когда мы вошли и ты почувствовала нас. Когда узел затянулся. Когда метка вспыхнула. Это была не случайность. Это, древнее, как луна. Зверь нашёл зверя, и никакая волчья ягода не может это остановить. Может замедлить, может заглушить, но не остановить.

Я опустила голову. Слёзы тихие, злые, горячие капали на колени. Шестнадцать лет. Мать. Егор. Владлен. Чай. Хлеб. Обмороки. Всё, ложь. Всё, клетка. И я жила в этой клетке, как зверь, который не знает, что он зверь, который думает, что он ручной, слабый, больной, которому нужны травы и забота.

— Почему вы не пришли раньше? — спросила я сквозь слёзы. — Если вы искали больше триста лет… почему только сейчас?

Артём ответил первым. Его голос был тихим, и в нём была боль, которую он прятал за спокойствием, как прячут рану под одеждой.

— Мы не знали, где ты. Связь — это не карта. Она не показывает координаты. Она тянет, как нить, но нить была разрезана травой. Мы чувствовали, что ты есть, но не могли найти. Пока трава не начала слабеть. Последний год волчья ягода в твоём организме стала разрушаться. Твой зверь рос, креп, и травы на него не хватало. Владлен увеличивал дозу, но зверь был сильнее. И три дня назад, мы почувствовали. Пошли на запах. И нашли тебя в баре.

— Случайно, — прошептала я.

— Нет, — сказал Максим. — Не случайно. Зверь привёл. Всегда, зверь.

Тишина. Огонь в печи потрескивал, тени плясали по стенам. Я сидела между двух альф, и внутри меня зверь, тот зверь, которого я не знала, которого травили, которого запирали, поднял голову и посмотрел на меня. Не как враг. Не как чужой. Как я. Как та часть меня, которая была заперта и теперь стучала в дверь, и просила, и ждала.

— А Дамир? — спросила я. — Он тоже искал?

Максим и Артём переглянулись. Снова тот безмолвный разговор, но на этот раз в нём было что-то другое. Не просто согласие. Сомнение. Как будто Дамир был темой, которую они обсуждали много раз и к которой так и не пришли к общему ответу.

— Дамир, другой, — сказал Артём медленно, подбирая слова. — Мы искали. Триста лет, четыреста, мы шли по следу, по запаху, по нити, которая тянула. А Дамир… Дамир не искал.

— Как, не искал?

— Он знал, — сказал Максим. Его голос стал тише, и я увидела, что ему некомфортно, не от вопроса, от темы. — Он знал, где ты. Всё время. С самого начала.

Я замерла.

— Что значит, с самого начала?

— С твоего рождения, — сказал Артём. — Может, раньше. Мы не знаем. Дамир не объясняет. Он не говорит о себе. Но он был рядом с тобой задолго до нас. Мать сказала, полгода, когда тебе было семь. Но я думаю, дольше. Гораздо дольше.

— Он стоял в саду, — сказала я. — Мать видела его из окна.

— Не только в саду, — сказал Максим. — В обмороках. Ты говорила, слышала три голоса. Рычащий, тихий и беззвучный. Беззвучный — это Дамир. Он приходил к тебе в обмороках. Не во сне, не наяву, в том пространстве между, куда зверь проваливается, когда тело отключается. Он был там. Каждый раз. Каждый обморок. Шестнадцать лет.

Я смотрела на них и не могла дышать. Шестнадцать лет. Каждый обморок. Каждый провал в темноту, в лес, где три голоса звали меня по имени. Я думала болезнь, аномалия, слабая омега, у которой галлюцинации. А это был он. Он приходил. Стоял в темноте моего обморока, беззвучный, без запаха, без формы, и звал. И я шла на голос, и просыпалась.

— Почему не помог? — спросила я, и голос дрогнул. — Если он был рядом, почему не вытащил меня? Почему не забрал? Почему стоял и смотрел, как меня травят?

Максим молчал. Артём молчал. Тишина была тяжёлой, как перед грозой.

— Потому что не мог, — сказал Артём наконец. — Связь не была замкнута. Дамир, часть связи, но связь требует всех четверых. Без меня и Максима, без золотой и серебряной нити, чёрная нить не может замкнуться. Она может только держать. Дамир держал. Шестнадцать лет, держал зверя. Не давал ему умереть. Не давал траве убить его. Он не мог вытащить тебя, потому что без нас связь не замкнулась бы, и ты бы осталась запертой, но уже без защиты. Владлен нашёл бы тебя. Травил бы снова. А Дамир… Дамир не смог бы защитить тебя один. Не от Владлена. От Владлена, нужна сила. Сила трёх.

— Чёрная нить, глубже, — сказала я, вспоминая три дня заточения. — Золотая и серебряная ослабли от травы. А чёрная, нет.

— Потому что чёрная нить, не в теле, — сказал Артём. — Золотая и серебряная проходят через кровь, через ауру, через то, что трава может достать. А чёрная глубже. Она в кости. В основу. В то место, откуда растёт зверь. Волчья ягода не достаёт до корня. Она убивает листья и ветви, но корень, жив. Дамир держал корень.

Я закрыла глаза. Шестнадцать лет. Каждый вечер, чай с горечью. Каждый обморок, провал в темноту, где три голоса звали меня. Я думала, проклятие. А это была связь. Я думала, слабость. А это была сила, которую держали за корень, пока два других корня искали дорогу ко мне.

— А Владлен? — спросила я. — Он знает про Дамира?

— Владлен знает, что есть третий, — сказал Максим. — Он не знает, кто. Не знает, как. Но он знает, что трое — это не двое. Три альфы — это другая сила. Другая связь. Другая угроза. Поэтому он так испугался, когда ты сказала «трое». Двух альф он бы встретил. С двумя, справился бы. А с тремя, нет. Три альфы и истинная омега — это конец его клана. Конец его сорока лет. Конец всего.

— Поэтому он запер меня.

— Поэтому он запер тебя, — кивнул Артём. — И поэтому он увеличил дозу. Последние три дня ты пила двойную порцию. Я чувствую её в тебе. Твой зверь спит. Но не мёртв. Дамир не дал ему умереть.

Я открыла глаза и посмотрела на них.

— Дамир, — сказала я в темноту. Не громко. Тихо. Как зовут того, кто слышит без слов.

Тишина. Секунда. Две. Три.

Потом, движение. Не у двери, не у окна. В углу комнаты, где тень от печи ложилась на стену. Тень стала гуще. Темнее. Плотнее. И из неё, как из глубины воды, проступил Дамир.

Не вышел. Не появился. Проступил. Как проступает рисунок на старой бумаге, которую держат над огнём. Сначала, контуры. Потом, детали. Чёрные волосы. Тёмная кожа. Глаза без белка. Шрам от костяного ножа. Чёрная метка.

Он стоял в углу, и от него не было ни звука, ни запаха, ни движения. Только тяжесть. Только присутствие. Только чёрная нить, которая натянулась между нами, не как струна, не как поводок, а как дно, которое соединяет два берега.

— Ты был рядом, — сказала я. — Шестнадцать лет. В обмороках. В саду. Каждый вечер.

Дамир молчал. Его чёрные глаза смотрели на меня, в меня, сквозь меня. Как всегда. Но сегодня, в тусклом свете печи, в тишине этого дома, я увидела в его глазах то, что не видела раньше. Не тоску. Не признание. Что-то глубже. Что-то, чему не было названия, потому что язык не придумал слово для того, кто ждёт вечность и находит.

— Да, — сказал он. Одно слово. Тихо. Как камень на дне.

— Почему ты не вышел? Почему стоял в тени?

Дамир молчал. Долго. Так долго, что Максим за моей спиной напрягся, Артём опустил глаза, а огонь в печи потрескивал, как единственный звук в мире.

Потом Дамир сделал шаг. Один. Бесшумный. И ещё один. Он шёл ко мне, и от каждого его шага воздух становился тяжелее, темнота, гуще, а чёрная нить, натянутее. Не как струна, как гравитация, которая тянет и не отпускает.

Он остановился передо мной. Ближе, чем когда-либо. Я чувствовала его, не запахом, не теплом, а чем-то другим, тем, что живёт в костях, в крови, в корне зверя. Его рука поднялась, медленно, как движение тьмы, и пальцы, длинные, тёмные, коснулись моей шеи.

— Потому что ты не была готова, — сказал он. — Зверь не был готов. Корень держал, но ветви, нет. Если бы я вышел раньше, раньше, чем огонь и лёд нашли тебя, зверь проснулся бы наполовину. Наполовину проснувшийся зверь — это безумие. Ты бы сошла с ума. Или умерла. Или, хуже, стала бы тем, чего Владлен боялся: оружием. Без связи, без контроля, без нас, ты была бы сила без формы. Хаос. И Владлен использовал бы это.

Его голос был тихим, ровным, без рыка, без вибрации, без тепла. Но каждое слово падало, как камень в воду, и расходилось кругами, и я чувствовала эти круги внутри себя, в том месте, где зверь сидел и слушал.

— Я ждал, — сказал он. — Ждал, пока трава начнёт слабеть. Ждал, пока огонь и лёд найдут дорогу. Ждал, пока все три нити смогут замкнуться. Шестнадцать лет — это долго для вас. Для меня, нет. Я ждал дольше. Гораздо дольше. Я ждал до того, как ты родилась. Я ждал до того, как Владлен построил свой клан. Я ждал до того, как люди пришли на эти земли. Я ждал, и ты пришла. И я перестал ждать.

Его пальцы на моей шее, на метках, не двигались. Просто держали. Как дно держит океан. Как корень держит дерево. Как бездна держит всё, что наверху.

— Дамир, — сказала я, и голос дрогнул, потому что я не знала, что чувствую. Благодарность? Злость? Злость на мать, на Владлена, на Егора, да. Но на Дамира? Он ждал. Он держал. Он не мог иначе. — Сколько тебе лет?

Тишина. Дамир убрал руку. Отступил. Его лицо не изменилось, маска, поверхность чёрной воды. Но в его глазах, на одну секунду, я увидела то, что видела в баре. Тоску. Только теперь, меньше. На каплю. На одну каплю меньше, чем вчера.

— Я не помню, — сказал он. — Я помню, когда не было этого леса. Не было этой реки. Не было людей. Был лёд. Был камень. Была тьма. И я был в тьме. А потом тьма сказала: жди. И я ждал.

Максим за моей спиной выдохнул. Я услышала, как он сглотнул, как его кулак сжался, костяшки побелели. Триста лет, и он считал себя древним. А Дамир помнил лёд и камень.

Артём стоял у окна. Его серые глаза были широко открыты, и я видела в них не страх, понимание. Артём, который прожил четыреста лет, который видел, как строятся и рушатся империи, понимал. Четыреста лет рядом с вечностью — это всё равно что вечер рядом с зимой.

Дамир отступил в тень. Не исчез, отступил. Стал менее чётким, как силуэт в тумане, но я всё ещё видела его, контур, чёрные глаза, которые не моргали.

— Что теперь? — спросила я. Вопрос, всем троим. Но смотрела на Дамира, потому что знала: ответ зависит не от огня и не от льда. Огонь жжёт, лёд обжигает, но решение, за бездной. За тем, кто ждал вечность и перестал.

— Теперь ты перестаёшь пить яд, — сказал Максим. Его голос был хриплым, но в нём была нежность, которую он не умел выражать словами и выражал близостью, коленом, которое касалось моего, теплом, которое шло через куртку. — Теперь ты учишься быть собой. Теперь ты, дома.

— Твоя аура будет просыпаться постепенно, — добавил Артём. Он вернулся к столу, сел напротив, его серые глаза были внимательны, как у врача, который объясняет пациенту, что будет дальше. — Первые дни, тяжело. Зверь будет метаться. Клетка из травы треснет, но не сразу. Будет жар. Озноб. Боль. Обмороки, но другие, не как раньше. Не пустые. Зверь будет выходить, и ты будешь видеть его, впервые. Это страшно. Но мы будем рядом. Все трое.

— И Дамир? — спросила я, глядя в тень.

— Дамир, всегда рядом, — сказал Артём. — Даже когда ты его не видишь. Особенно тогда.

Я кивнула. Потом встала. Ноги дрожали, колени были ватными, но я встала, потому что сидеть больше не могла. Я прошла мимо Максима, мимо Артёма, к окну. За стеклом, поляна, пни, река, лес. Тёмный, огромный, чужой. Мир, в который я не выходила никогда.

Я положила ладонь на стекло. Холодное. За ним, свобода, которой я не знала. Двадцать три года, за забором, за периметром, за стеной из горького чая и тёплого хлеба. А сейчас, лес, река, небо, и трое, от которых пахнет дымом, мятой и пустотой, и в этой пустоте, больше тепла, чем во всём поместье клана Теневых.

— Мне нужно время, — сказала я. Не оборачиваясь. — Мне нужно разобраться. В матери. В Владлене. В себе. В вас. В том, что со мной будет. Мне нужно время.

— У тебя есть всё время мира, — сказал Артём.

— Нет, — сказал Максим. — У нас есть до рассвета. Владлен пришлёт следящих к утру. Он знает, что ты ушла. Егор не сможет задержать его вечно. Но мы не уйдём. Мы останемся здесь, в этом доме, пока ты не будешь готова.

— А Дамир? — снова спросила я, и сама не поняла, почему всё время спрашивала о нём. Может, потому что Максим был рядом, горячий, близкий, понятный. Артём, рядом, спокойный, чёткий. А Дамир, нет. Дамир был в тени, и я не знала, далеко ли он или близко, уходит или остаётся, слышит или нет. И от этого незнания было тревожно, не страшно, тревожно, как будто одна из трёх опор была невидимой, и я не знала, держит ли она вес.

— Дамир, — сказал Максим, и в его голосе было что-то, чего я не слышала раньше. Не раздражение. Не зависть. Уважение. Тяжёлое, неохотное, как у сильного, который признаёт сильнейшего. — Дамир уйдёт последним. Дамир всегда уходит последним. Он, тот, кто закрывает дверь.

Я обернулась. Тень в углу была пуста. Дамир исчез. Но чёрная нить не ослабла. Не натянулась. Просто была. Как гравитация. Как дно. Как то, что не уходит, потому что не может.

Огонь в печи потрескивал. Тени плясали по стенам. За окном, лес, река, темнота. Три метки на шее горели, золотая, серебряная, чёрная, и не гасли.

Я стояла в чужом доме, в чужом лесу, в чужой жизни, и впервые за двадцать три года не хотела домой. Потому что дома не было. Дом был ложью. Дом был чаем и хлебом, забором и периметром, матерью, которая травила, старейшиной, который ломал, пекарем, который молчал.

Здесь, не было дома. Здесь был лес. Река. Огонь в печи. И трое, которые ждали меня триста, четыреста и вечность.

Я села обратно. Максим подвинулся, не отодвинулся, подвинулся, так, что его плечо касалось моего, и от этого касания было тепло, и зверь внутри, запертый, отравленный, почти убитый, поднял голову и завыл. Тихо. Беззвучно. Но я услышала. И они услышали.

— Расскажите мне всё, — сказала я. — С самого начала. Кто я. Что я. Зачем меня травили. И что будет дальше.

Артём кивнул. Максим кивнул. Дамир, не кивнул, потому что его не было. Но чёрная нить дёрнулась, едва заметно, как пульс на дне, и я знала: он слушает.

И я начала узнавать.

Глава 6. Пробуждение

Первые три дня без чая были худшими в моей жизни. Не потому что мне было плохо физически, хотя было и плохо: голова раскалывалась, руки тряслись, тело горело, как в лихорадке. А потому что я чувствовала, как клетка рушится. Не снаружи, изнутри. Волчья ягода, которая шестнадцать лет держала зверя, уходила из тела, и с каждым часом, с каждым глотком чистой воды вместо горького чая, зверь поднимался.

Сначала тёплое покалывание в пальцах. Потом жар в груди, как костёр, в который подбросили хворост. Потом зрение. Мир стал острым, как нож: я видела каждый лист на деревьях за окном, каждую каплю росы на траве, каждое движение птицы в небе. Видела, как паук плетёт паутину под крышей, с двадцати метров, в темноте, без бинокля. Видела, как кровь пульсирует под кожей Максима, когда он ходит по дому, тёплая, красная, живая река под кожей. И каждый раз, когда я это видела, внутри что-то дёргалось и тянулось, как поводок, на котором держат зверя, который хочет подойти.

Запахи. Запахи стали невыносимыми. Я чуяла всё: дым от печи, хвою за стеной, речную воду, землю, мох, грибницу под корой. Чуяла Максима, дым, хвоя, зверь, тепло, и от его запаха внутри всё сжималось и тянуло. Чуяла Артёма, дождь, мята, мёд, прохлада, и от его запаха хотелось закрыть глаза и отдаться, не сопротивляться, просто быть рядом. Чуяла Дамира, или, точнее, чуяла его отсутствие. Там, где он проходил, воздух становился другим: гуще, тяжелее, тише. Как будто кто-то вынул из него все запахи и оставил только вес. И от этого веса чёрная метка на шее пульсировала, не жаром, не холодом, а тянущей пустотой, как голод, который нельзя утолить едой.

Первую ночь я провела без сна. Лежала в кровати, в комнате, которую мне отвели, маленькой, с односпальной кроватью, шерстяным одеялом и окном на лес. За стеной Максим. Его дыхание я слышала через стену, через доски, через всё. Ровное, глубокое, с рычащими нотками на выдохе. Он не спал. Я знала. Зверь не спит, когда рядом его.

Артём спал этажом выше. Я слышала и его, тише, ровнее, как метроном. Но и он просыпался. Я чувствовала, как его дыхание сбивалось каждый раз, когда я ворочалась, как будто он слышал меня через пол, через балки, через всё. Как будто связь не знала стен.

Дамир не спал никогда. Я не знала, где он, но знала, что он не спит.

На вторую ночь я проснулась от собственного крика. Не крика, воя. Зверь внутри меня рвался наружу, и тело горело, как печь, и метка на шее, две точки, золотая и серебряная, пульсировала так, что я видела свет сквозь кожу. Третья, чёрная, не пульсировала. Она давила. Как якорь, который держит корабль в буре.

Максим ворвался первым. Без стука, без предупреждения, просто открыл дверь, и от него шёл жар, как от камина. Его глаза были жёлтыми, полностью жёлтыми, зрачки, тонкие вертикальные линии, клыки удлинены. Зверь. Он стоял в дверях, и зверь в нём рвался к зверю во мне, и между ними невидимая нить, связь, которая тянула и пела.

Он не спросил разрешения. Не спросил, можно ли войти. Он вошёл, как входят в свою комнату, в свой дом, к своему. Его ноги, босые, тяжёлые, простучали по доскам, и он сел на край кровати, и его рука, большая, горячая, легла мне на затылок, и пальцы сжались в волосах, и от этого прикосновения золотая метка вспыхнула, как звезда, и жар прошёл через его руку в меня, и зверь внутри затих. Не уснул, затих. Прислушался. Узнал.

— Тише, — сказал он, и его голос был рычащим, но мягким, как рык волка, который защищает, а не нападает. — Тише, маленькая. Я здесь.

Артём встал за ним. Тоже зверь, серые глаза стали тёмными, почти чёрными, зрачки сузились. Но он не двигался, не подходил, стоял в тени, и я видела, что он держит себя, как держат поводок на зверя, который рвётся, но не должен. Его руки сжаты в кулаки, костяшки

белые, дыхание рваное, короткое. Он хотел подойти. Я видела это по тому, как его тело подалось вперёд, на миллиметр, по тому, как его пальцы разжались и снова сжались, потому, как ноздри расширились, втягивая мой запах, мой, и жар, и боль, и зверя. Но он ждал. Не разрешения, сигнала. От меня. От Максима. От кого угодно.

— Дышу, — прошептала я. — Я просто дышу.

— Нет, — сказал Максим, и его рука на моём затылке сжалась крепче, и он наклонился ближе, и его дыхание, горячее, с рыком, коснулось моего лица. — Ты не дышишь. Ты воишь. Зверь выходит, Алина. Не сопротивляйся. Не запирай его. Он не враг. Он, ты.

Я закрыла глаза и отпустила. Не сознательно, не умом, не волей. Просто перестала держать. Как отпускают верёвку, которую сжимала шестнадцать лет, и руки разжимаются, и верёвка падает, и тело горело. Кожа покрылась мурашками, потом жаром, потом чем-то, что было не болью и не удовольствием, а чем-то третьим, для чего не было слова. Когти. Я почувствовала, как ногти на руках стали длиннее, острее, как они царапнули простыню, и ткань разорвалась с тихим звуком, как бумага. Зрение стало ещё острее, я видела в темноте, видела пылинки в воздухе, видела тепло тел, Максима, красно-жёлтого, как угли, и Артёма, синеватого, как лунный свет.

И запах. Я чуяла их. Не просто дым и мяту, всё. Каждую ноту. Сердце Максима билось быстро, мощно, как барабан. Кровь Артёма, медленнее, глубже, как подземная река. Их звери рвались ко мне, и мои к ним, и между тремя зверями стояла только тонкая стена, стены комнаты, стены контроля, стены привычки.

Максим положил ладонь мне на лоб. Шершавую, горячую, и от прикосновения метка вспыхнула, золотая, яркая. Жар прошёл через его руку в меня, и зверь внутри затих. Не уснул, затих. Прислушался. Узнал. Его большой палец провёл по моей скуле, медленно, грубо, как лапа зверя, который не умеет гладить и потому трёт, и от этого прикосновения по телу прошла волна, горячая, густая, от которой низ живота заныл, и я сжала бёдра, и тихий звук, не стон, что-то меньше, что-то, что я не хотела выпускать, всё-таки вышел.

Максим услышал. Его зрачки расширились, и рык в его груди стал громче, и я видела, как его руки, обе, сжались на простыне по бокам от моего тела, как когти, его когти, не ногти, когти, прорвали ткань, и матрас под простынёй хрустнул.

— Вот так, — прошептал он. — Вот так, маленькая. Я держу.

Артём подошёл. Медленно, как подходят к раненому зверю, который может укусить. Его рука легла мне на плечо, прохладная, ровная, и от его прикосновения серебряная метка вспыхнула, и второй жар, не горячий, а глубокий, как земля зимой, тёплая снизу, прошёл через меня. Два жара встретились внутри, и зверь, который рвался, который кричал, который горел, лёг. Просто лёг, как собака у ног хозяина, и закрыл глаза, и замурчал. Не звуком, вибрацией, которая прошла через всё тело и затихла в груди.

Его пальцы, длинные, прохладные, медленно прошлись по моему плечу, по ключице, и остановились у горла, у пульса, и я чувствовала, как он считает удары сердца. Его лицо было близко, я видела его глаза, серые, тёмные, и в них было то же, что и у Максима: голод и нежность и страх. Но ещё осторожность. Артём трогал меня так, как трогают тонкий лёд, который может треснуть.

Я открыла глаза. Оба альфы стояли надо мной и в их глазах было одно и то же: голод, нежность и страх. Голод звериный, первобытный, от которого мне стало жарко между ног. Нежность неуклюжая, как у зверей, которые умеют только рычать и прижимать, но не гладить. Страх не за себя. За меня.

— Вы в порядке? — спросила я, и мой голос был хриплым, с рычащими нотками, которых я раньше не слышала у себя.

Максим засмеялся. Коротко, хрипло, как лай.

— Ты спрашиваешь нас? Ты только что чуть не обернулась впервые в жизни, и ты спрашиваешь нас?

— Я не обернулась, — сказала я. — Я…

Я посмотрела на руки. Когти втянулись. Ногти обычные, короткие. Но простыня порвана. Три длинные борозды, как от ножа. Мои.

— Начало, — сказал Артём тихо. Его рука всё ещё лежала на моём горле, и я чувствовала, как его пальцы дрожат едва заметно, как струна, которую задели кончиком пера. — Это только начало.

Максим не убрал руку с моего затылка. Его пальцы всё ещё были в моих волосах, и он не двигал ими, просто держал, как держат то, что боятся упустить. И я не просила убрать. Потому что от его руки, тяжёлой, горячей, грубой, шло тепло, которое не было ни нежностью, ни страстью. Было безопасностью. Как от стены, за которой можно спрятаться.

Артём убрал руку первым. Медленно, неохотно, как отрывают от чего-то тёплого в холодный день. Его пальцы скользнули по моей коже от горла к плечу, от плеча к ключице и остановились. Я видела, как он сжал кулак, как костяшки побелели, как он заставил себя отстраниться. Его контроль трещал, как лёд над рекой, и я видела трещины по тому, как дрожал его подбородок, по тому, как желваки на скулах ходили, по тому, как дыхание стало рваным.

— Спи, — сказал он. — Мы будем рядом.

— Я не могу спать, — ответила я. — Он не даёт. — Я имела в виду зверя, который ворочался внутри, как сверчок в коробке. — Он хочет…

— Я знаю, чего он хочет, — сказал Максим, и его голос стал ниже, рык глуше, и я увидела, как его глаза, жёлтые, звериные, прошлись по мне: от лица к шее, к метке, к ключицам, к груди, и ниже, к одеялу, под которым я лежала. И от этого взгляда мне стало жарко, не от зверя, от него. — Я знаю. Но не сейчас. Не так.

Он встал. Его тело, большое, тёмное в свете печи, поднялось, и я увидела, как он сжал кулаки, как его челюсть стиснулась, как он заставил себя отойти от кровати. Два шага. Три. Он остановился в дверях, и я видела его спину, широкую, с мышцами, которые двигались под кожей, как канаты, и татуировку волка на предплечье, которая казалась живой в мерцающем свете.

— Если что, кричи, — сказал он, не оборачиваясь. — Я услышу.

Артём не ушёл. Сел на пол, у стены, спиной к дверям, и его серые глаза были закрыты, но я знала, не спит. Слушает. Держит.

Дамира я не видела. Но чёрная нить тянулась не к стене, не к двери, а вниз, как будто он стоял под домом, под полом, в земле, в том месте, откуда растут корни. И от этой нити, тонкой, тяжёлой, как свинцовая струна, шло спокойствие. Не тепло и не холод. Тишина. Глубокая, как колодец, на дне которого не вода, а камень.

Я закрыла глаза. Зверь внутри ворочался, но тише, не рвался, ворчал. Как будто ему сказали «подожди», и он ждал. Впервые за шестнадцать лет ждал, а не кричал.

И я заснула. Впервые не от обморока, от усталости, от жара, а от их присутствия.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.